



СЕРГЕЙ МОГИЛЕВЦЕВ

ВЕЧНЫЙ ЖИД

РОМАН

Сергей Могилевцев

Вечный Жид

«Accent Graphics communications»

2016

Могилевцев С.

Вечный Жид / С. Могилевцев — «Accent Graphics communications», 2016

В психиатрической лечебнице маленького провинциального города N. находится пациент, не знающий своего подлинного имени, и не имеющий возможности взглянуть на свое отражение в зеркале. Вместо собственного лица он видит множество осколков, сложить которые между собой не представляется никакой возможности. Положение его совершенно безнадежно, и он, как всем очевидно, будет вынужден до конца своих дней пребывать в этом доме скорби. В качестве эксперимента его лечащий врач, не надеясь на какой-либо результат, предлагает Виктору К. (так называет персонал лечебницы несчастного) собирать отдельные осколки своей жизни, записывая их на листах бумаги. Врач рассчитывает, что, собранные вместе, эти отдельные осколки, возможно, заставят Виктора К. вспомнить, кто он есть на самом деле, и помогут увидеть в зеркале свое собственное лицо. Когда отдельных листов с записями различных эпизодов из жизни Виктора К. набирается довольно много, лечащий врач с согласия пациента решает издать их отдельной брошюрой. Но он не догадывается, что на оборотной стороне этих отдельных осколков своей жизни Виктор К. описывает историю некоего то ли подлинного, то ли вымышленного писателя Айзека Обломоффа. Ничего не подозревающий издатель издает осколки жизни Виктора К. вместе с биографией Айзека Обломоффа, и в итоге получает уже не брошюру, а вполне приличную книгу, произвольно названную им «Вечный Жид». Виктор К. получает возможность взглянуть в зеркало, и увидеть в нем наконец-то свое собственное лицо. Он понимает, что и есть тот самый писатель Айзек Обломофф, а вовсе не несчастный пациент маленькой провинциальной лечебницы. Все чудесным образом преображается, он становится нормальным, и покидает место своего долгого заключения. В целом роман «Вечный Жид» – это книга о боли, отчаянии, безнадежности, и о чудесном спасении, в которое всегда нужно верить, и которое обязательно приходит к тому, кто не теряет надежду.

© Могилевцев С., 2016

© Accent Graphics
communications, 2016

Содержание

Предисловие издателя	7
Туннель (Оск.)	9
Лото (Изыск.)	11
Аркадия (Оск.)	13
Муки плоти (Оск.)	15
Атлантида (Оск.)	17
Станционный смотритель (Оск.)	18
Небытие (Оск.)	19
Истоки (Изыск.)	20
Всё наоборот (Изыск.)	24
Амнезия (Оск.)	26
Библиотека (Оск.)	28
Черная вдова (Оск.)	32
Кривые пути (Изыск.)	33
Кровь и снег (Изыск.)	36
Остановка (Оск.)	41
Арбат (Оск.)	42
Звонок (Оск.)	43
Пуговицы (Оск.)	44
Бега (Оск.)	45
Новодевичий (Оск.)	46
Пушкин (Оск.)	47
Мытищи (Оск.)	48
Пушкино (Оск.)	49
Трудные времена (Изыск.)	50
Революция (Изыск.)	53
Три Парки (Оск.)	57
Пруды (Оск.)	58
Иванов День (Оск.)	59
Четырнадцатый этаж (Оск.)	60
Три ведьмы (Оск.)	62
Театральное бюро (Оск.)	63
Тверская (Оск.)	65
Отлучение (Изыск.)	67
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Сергей Могилевцев

Вечный Жид

Роман

*Вы бродите во тьме, во власти заблужденья,
Неверен каждый шаг, цель также неверна,
Во всем бессмыслица, а смысла ни зерна,
Несбыточны мечты, нелепы убежденья.*

*И отрицания смешны, и утверждения,
И даль, что светлую вам кажется, – черна,
И кровь, и пот, и труд, вина и не вина
Все ни к чему для тех, кто слеп со дня рожденья.*

*Вы заблуждаетесь во сне и наяву,
Отчаявшись иль вдруг предавшись торжеству,
Как друга за врага приняв врага за друга,
Скорбя и радуясь в ночной и в ранний час...
Ужели только смерть прозреть заставит вас
И силой вытасчит из дьявольского круга?!*

Гриффиус, сонет «Заблудшие»

*Нет у тебя ничего, ни поля, ни коня, ни денег, ни пищи. Годы
проходят для тебя, не принося урожая. Ты враг, ты дьявол. Ты
медлителен и ленив.*

*Холодный суровый ветер треплет тебя. Проходит безрадостно
твоя юность. Я обхожу молчанием твои пороки – душевные и телесные.
Не дают тебе приюта ни город, ни деревня, ни дупло бука, ни морской
берег, ни простор моря.*

*Скиталец, ты бродишь по свету, пятнистый, точно леопард. И
колючий ты, словно бесплодный чертополох. Без руля устремляется
всюду твоя злая песня...*

Церковная инвектива, предававшая анафеме поэта-ваганта

Предисловие издателя

Предлагаемая вниманию читателей книга появилась при довольно любопытных обстоятельствах, не зная которые, читать нижеприведенный текст (точнее, тексты), было бы довольно трудно. В психиатрической лечебнице маленького южного города N. уже довольно длительное время находился пациент, страдающий, помимо основного душевного заболевания, еще и амнезией, то есть потерей памяти, так что подлинного его имени не знал никто, и в документах он проходил, как Виктор К. Так же называл его медперсонал и другие пациенты этого дома скорби, находящегося, надо прямо сказать, в крайне запущенном состоянии, как, впрочем, и большинство наших подобных заведений. Основное же заболевание Виктора К., насколько правильно понял издатель, вовсе не профессионал в области психиатрии, объяснение главного врача лечебницы доктора Валленштайна, передавшего нам эту рукопись, заключалось в следующей весьма любопытном феномене: несчастный больной не мог увидеть себя в зеркале, ибо вместо полной картины взору его представлялись многочисленные неправильные фрагменты, словно бы зеркало, в которое он смотрел, было разбито на тысячи разных осколков, и точно на такие же тысячи осколков, или фрагментов, никак не связанных между собой, была разбита его прошлая жизнь. Несчастный помнил в малейших, причем очень часто красочных деталях множество фрагментов своей прошлой жизни, но единую картину, собранную вместе течением времени, составить не мог, отчего находился в состоянии постоянной подавленности, близкой к отчаянию. Он словно бы был уловлен в паутину разбитого на тысячи осколков зеркала, был вечным рабом этих безжалостных острых осколков, и выбраться из их плена не мог. Лечение, которое, кстати, проводил уже упоминавшийся доктор Валленштайн, заключалось в соединении между собой этих осколков разбитого зеркала, в соединении друг с другом разных фрагментов из жизни Виктора К., которые он по настоянию лечащего врача тщательно записывал на отдельных листах бумаги, – их накопилось у него великое множество, – лечение заключалось в попытке соединить между собой разбитые осколки зеркала, и увидеть наконец-то подлинное лицо несчастного пациента. В случае успеха он действительно смог бы увидеть свое отражение в зеркале, смог бы восстановить всю свою прежнюю жизнь и узнать наконец-то свое настоящее имя.

Все это, повторяем, издатель излагает со слов лечащего врача, уже упоминавшегося доктора Валленштайна, и, не будучи подкованным в столь специальных и щекотливых вопросах, вполне мог допустить какие-нибудь существенные и досадные ошибки, особенно в делах, касающихся специальных, психиатрических и иных терминов, о которых автор предисловия, не считая слова «шизофрения», практически ничего не знает. Однако основную суть метода, должествующего привести к выздоровлению Виктора К.: собирания разрозненных осколков зеркала, то есть фрагментов прошлой жизни несчастного, – понял правильно (или, по крайней мере, надеется, что это так).

По утрам обычно Виктор К., литературно, кстати, одаренный человек, записывал на отдельных листах бумаги наиболее яркие фрагменты из своей бывшей жизни, а вечером они с доктором Валленштайном пытались соединить их между собой, что, кстати сказать, у обоих – врача и пациента, – неплохо получалось. Процесс этот был столь захватывающий, и так увлек этих столь далеких друг от друга людей, что они даже в некотором роде подружились, а доктор Валленштайн с согласия своего пациента даже предложил автору этого предисловия издать отдельные осколки из жизни Виктора К. небольшой брошюрой, которая, как ему казалось, была бы интересна если и не широкой публике, то, по крайней мере, узким специалистам в области психиатрии. Издатель охотно согласился на это предложение, и, получив от доктора Валленштайна листы с записями Виктора К., тут же отдал их в набор. К сожалению, связь его с заведующим лечебницей на этом прекратилась, так как саму лечебницу вскоре расформиро-

вали, а пациентов и медперсонал распределили по разным другим местам, так что где теперь находится Виктор К., жив ли он, и узнал наконец свое подлинное имя, сложив между собой все фрагменты своей вдребезги разбитой жизни, ему доподлинно неизвестно.

Однако у издателя все же есть большая надежда, что Виктор К. смог спастись, вынырнув из темноты своего на первый взгляд абсолютно безнадежного душевного заболевания, и надежда эта основывается вот на каких, совершенно неожиданно открывшихся обстоятельствах. На оборотных сторонах листов с отдельными осколками из жизни Виктора К. (они отныне будут именоваться Осколками) уже в процессе набора были обнаружены собственные изыскания пациента психиатрической лечебницы (в дальнейшем именуемые Изысканиями), которые он проводил на свой страх и риск, самостоятельно, не ставя в известность лечащего врача, и относящиеся к жизни некоего то ли настоящего, то ли выдуманного им писателя по имени Айзек Обломофф. Изыскания эти, сами по себе довольно любопытные, были включены никем не предупрежденным наборщиком в текст рукописи, так что она отныне состояла не только из воспоминаний (Осколков) Виктора К., но и из его описаний различных сторон жизни Айзека Обломоффа (Изысканий), перемежающихся между собой, и составляющих, как ни странно, довольно связный и любопытный текст. Из-за этих новых включений объем брошюры резко увеличился, и она уже вполне тянула на отдельную книгу, которая вскоре и была издана совсем небольшим тиражом.

Издатель, повторяем еще раз, до самого выхода книги из типографии ни сном ни духом не подозревал, что печатает не только Осколки жизни Виктора К., но и его Изыскания, надеясь увидеть у себя на столе не книгу, а всего лишь брошюру, интересную разве что узким специалистам. Но дело, как видим, повернулось совсем другой стороной, и ничего изменить теперь уже невозможно: перед нами несомненное литературное произведение Виктора К., литературно одаренного пациента N-ской психиатрической лечебницы, которое, пожалуй, при некоторых натяжках можно даже назвать романом. Так это, или не так, судить, разумеется, не издателю, а просвещенным читателям, которых, конечно, не будет очень много, в силу ограниченности тиража, а также специфики данного сочинения. Соответствует ли это истине, издателю доподлинно не известно. Он лишь надеется на вечную благосклонность просвещенных читателей, а также на то, что Виктору К., который стал ему искренне симпатичен и близок, все же удалось собрать воедино многие фрагменты разбитого зеркала своей жизни, и несчастный наконец-то увидел свое подлинное лицо и услышал из уст других свое настоящее, а не вымышленное, имя!¹

Москва, май 2008 г.

¹ Еще раз напоминаем читателям, что те части романа, озаглавленного издателем как «Вечный Жид» (озаглавленного, надо сказать, совершенно произвольно), которые относятся к осколкам его жизни, помечены в скобках как Осколки (Оск.), а те, что относятся к жизнеописанию Айзека Обломоффа, как Изыскания (Изыск.) – Издатель.

Туннель (Оск.)

Туннель, огненный, стены горят, и жар от огня мешает дышать. Огненные кольца похожи на обручи в цирке, зажженные дрессировщиком, через которые прыгают звери. Я иду по этому огненному туннелю, и пламя обжигает тело со всех сторон. Страшно и жарко, а впереди нет никакого просвета, впереди пламя еще больше, и в этом пламени я сгорю весь без остатка. Жар набегает волнами, а потом слегка отпускает, как будто играет со мной. Я зверь, которого дрессировщик загнал в этот страшный туннель, я должен погибнуть, и никто меня уже не спасет. Я не могу идти вперед, потому что там пламя такое яростное, будто его специально раздувают невидимыми мехами. Может быть, попробовать вернуться назад? Если, конечно, мне позволят это сделать. Кажется, мне это позволяют, и я медленно пчучсь назад, весь обгорелый и обожженный, как куча хвороста, брошенная в адскую топку. Странно, что от меня еще что-то осталось в этом страшном огне, и я могу отступить назад еще на один или на два шага. Становится немного легче дышать, это свежий воздух, который еще остается сзади: в том месте, откуда начался этот проклятый туннель. Да, это воздух, спасительный воздух, я ждал его так долго, и, кажется, снова возвращаюсь к нему. Пламя в туннеле уже не так жжет, его уже можно терпеть, и вот, наконец, я покидаю этот проклятый туннель. Туннель, из которого нет выхода. Туннель без надежды, в конце которого от человека остается лишь душа, терзаемая вечным и страшным пламенем. Разрываемая на куски баграми и клещами, которые держат в своих руках безжалостные работники преисподней. Неужели я побывал в преисподней? О Боже, за что, за что, неужели же я такой закоренелый грешник? Впрочем, Ты меня все же отпустил, позволил вернуться назад, в мир, к которому я привык, и который за время пребывания в преисподней успел забыть окончательно. От которого отвык всего лишь за несколько мгновений. Хотя кто знает, сколько я находился в этом аду: секунду, час, день, вечность? Как это определить, кто вообще измеряет время в аду? Если, конечно, это был ад, а не что-то другое. Но, впрочем, где же я сейчас, что это за белое и мягкое рядом с моей щекой? Это что-то из старого мира, к которому я когда-то принадлежал. Кажется, это называется подушкой. А белое и гладкое, на котором я лежу, – простыня. Да, так и есть, я в больничной палате, вверху надо мной белый потолок, и лицо человека, губы которого шевелятся, и что-то пытаются мне сказать. По-моему, это врач. Поздравляю вас, говорит он, вы вернулись с того света! Клиническая смерть – через это пройти не каждому удастся. Вы прошли, и вернулись назад, поэтому можете считать себя счастливым. Вот как, кажется, отвечаю ему я, или только думаю, что отвечаю. Потом поворачиваю голову, и смотрю вбок, где рядом с кроватью стоят кислородные баллоны и змеятся по полу гибкие трубки шлангов. Этим они спасали меня, и, как видно, потрудиться им пришлось на славу! Не за страх, а за совесть они потрудились, и, кажется, за это принято говорить спасибо, а также поить водкой до самой смерти. Так, кажется, говорили солдаты в войну. Как смешно: поить водкой до смерти за то, что сам этой же смерти и избежал! Выходит, я свою смерть передаю своему спасителю, я остаюсь жив, а он в итоге уходит, или что-то в этом роде, такое заумное, что мне сейчас это не сообразить. Спасибо, доктор, шепчу я лицу, склонившемуся надо мной, вы настоящий герой, я буду поить вас водкой до смерти. О, он еще шутит, доносится до меня откуда-то сверху, значит, будет жить до ста лет! Лучше до тысячи, док, говорю я ему, хотя по-прежнему не знаю, доносятся ли до него мои слова. Он отвечает, слегка нахмурясь: до тысячи лет? Так долго, по-моему, никто не живет; впрочем, я ведь не умирал, и поэтому не могу говорить о жизни и смерти. А я, док, могу, отвечаю я белому, склонившемуся надо мной лицу, потому что вернулся оттуда, откуда нормальные люди не возвращаются. Вы вернулись оттуда, отвечает он, куда нормальные люди не попадают! И вообще, откуда вам знать, нормальны вы или нет, об этом никто до конца не знает. Радуйтесь, что остались живы, а о водке до конца моих дней поговорим, когда вы окончательно встанете на ноги. Я встану

очень быстро, отвечаю я ему, потому что должен еще многое сделать. Наверное, док, меня и не отпустили из-за этих недоделанных дел, некому их доделать, кроме меня. Ладно, ладно, говорит он, щупая мой воспаленный лоб, доскажете потом, за водкой до конца моих дней. Сестра, обложите ему ноги льдом, и сделайте инъекцию жаропонижающего, он еще не до конца вернулся из своего туннеля. Это туннель, доктор, из которого нет выхода, отвечаю я ему, и сразу же засыпаю. Мне снится, что я гуляю в Эдемском саду.

Лото (Изыск.)

Мои изыскания относительно жизни Айзека Обломоффа приводят меня наконец к тому моменту, когда он, двенадцатилетний мальчик, впервые осознал себя евреем. Впрочем, осознание это было еще робким, и не вполне осознанным, оно еще не сложилось в слова, и скорее существовало на уровне интуиции, на предчувствии чего-то большего, и сладостного замирания от того факта, что он наконец-то прикоснулся к чему-то своему, по-настоящему родному, которого был лишен все предыдущие годы. Событие, факт которого несомненен для меня, и известен ныне в мельчайших подробностях, было ни чем иным, как банальными именинами его одноклассницы по имени Наталья Эйдельмант (в те времена, как, впрочем, и много позже, он придавал значение скорее именам, чем фамилиям), и происходило в маленьком уютном доме ее бабки, находящемся в Аркадии всего в нескольких сотнях метров от моря, который позже снесут, и построят на его месте уродливый магазин для продажи спиртного. Айзек в то время был угловат и застенчив, у него свисали с ушей длинные пейсы, которые он постоянно крутил, чрезвычайно раздражавшие его сверстников и приводившие в восторг девчонок, которым непременно хотелось за них потянуть. Кроме того, он почти ничего не видел из-за волос, свисавших на его лоб ниже глаз, и прикрывавших прыщавый лоб, так что положение его на этих именинах было почти что аховое. Тем не менее, он решил держаться мужественно и дотерпеть до конца, чего бы это ему ни стоило. Он не был приучен к высокой культуре, отец его был патологоанатом, и дом его мало чем отличался от прозекторской в местном, покрытом кафелем и заляпанном страшными желтыми пятнами морге. Отец ходил на работе в запачканном кровью и сукровицей давно окоченевших трупов халате, а вдоль стен его рабочего кабинета стояли стеклянные шкафы со страшными медицинскими инструментами, похожими на клещи, щипцы и пилы из камеры пыток. Здесь же находились флаконы с дезинфицирующими жидкостями, издававшие резкий и неприятный запах, какие-то перегонные кубы, микроскопы, в которых, очевидно, отец, не верящий в Бога, пытался отыскать душу испаряемых им мертвецов, и головы самих мертвецов, заспиртованные в больших прозрачных сосудах, так что кабинет отца напоминал еще и кунсткамеру, увиденную им спустя несколько лет в Ленинграде. Правда, в отличие от анатомов Петра Великого, отец заформалинивал и заспиртовывал головы своих мертвецов нелегально, на свой страх и риск, и во время плановых визитов начальства запирали их на ключ в стеной шкаф, где они благополучно пережидали опасность. На прошедшей войне он был фельдшером, и весь безнадежно пропитался запахами крови и безысходного человеческого отчаяния, дни и ночи отбирая среди совсем безнадежных раненых красноармейцев пригодных для ампутации нижних и верхних конечностей, а также всего остального, что еще можно было ампутировать, отрезать, отпилить, или, наоборот, зашить и поставить на место. Пройдя через ад войны и насмотревшись на полуживые распотрошенные тела, он, окончив после победы медицинский институт, не смог работать нормальным врачом, и подался в патологоанатомы, не мысля, очевидно, своего существования без крови, трупов и вскрытых, как туши животных, голых и жалких человеческих тел. Дома у Айзека обстановка мало чем отличалась от отцовской прозекторской, все было очень чисто, стерильно и абсолютно бесплодно, так что просто хотелось выть от этого безжизненного холодного безмолвия, украшенного разве что кипой «Роман-газет», повествующих о геологах и покорителях безжизненных просторов Сибири, да унылых плакатах на стенах, призывающих мыть овощи в проточной воде во избежание дизентерии и тифа, и вовремя обследоваться у врача во избежание риска заразиться туберкулезом. Много позже, увидя подобный плакат в одной из московских больниц, где, правда, говорилось не о риске туберкулеза, а сифилиса, он от ужаса детства, внезапно нахлынувшего на него, грохнулся в самый настоящий обморок, и его, как нервную барышню, долго потом откачивали врачи и медсестры.

Мать Айзека была еврейкой, умело скрывавшая это не только в анкетах, но и от мужа, который после долгих ссор и препирательств наконец-то согласился на такое странное имя для сына – Айзек, – упрямо предпочитая более привычные его русскому уху имена: Сергей, Иван, Петр, или Василий. Мать Айзека была партийным работником, и постоянно пропадала то на партсобраниях, то на партконференциях, борясь за мир и за счастье всех людей на земле. Особенно ей нравилось бороться за счастье детей, эта борьба отнимала у нее почти все время, и возвращалась она домой только к вечеру.

Ничего еврейского в доме у них не было и в помине, как не было и культуры: ни еврейской, ни русской. Айзек, впервые попавший на именины в еврейскую семью, был поражен, разумеется, не застольем, ибо чего-чего, а еды в его доме всегда хватало, потому что по меркам провинциальной Аркадии отец с матерью получали огромные деньги, и недостатка в продуктах у них не было никогда. Нет, он был поражен некоей другой сущностью, которой днем с огнем нельзя было найти в его собственном доме, и которой он позже даст простое и точное название – *культура*. В доме еврейской девочки, куда его пригласили, безошибочно, каким-то вневременным и вечным чутьем угадав в нем человека своего круга, – в доме своей одноклассницы, позже, кстати, бесследно исчезнувшей как из Аркадии, так и из его собственной жизни, – в доме своей одноклассницы он впервые почувствовал запах культуры, незримо разлитой в комнатах этого одноэтажного еврейского дома, позже безжалостно снесенного и канувшего в пучины вечности. Запах культуры обволакивал его со всех сторон, и заставлял забывать о своих банальных прыщах, о своих нелепых еврейских пейзажах, о своей угловатости и заброшенности, и приобщал его к чему-то более высшему, к миру, в котором как раз и ценится эта заброшенность и отверженность, в котором заброшенность и отверженность как раз и являются нормой, которую нужно принимать спокойно и радостно, как бесконечный бег по равнинам жизни, как данность, как воздух, которым дышишь ты каждый день. Нам доподлинно известно (из многочисленных источников, о которых здесь нет нужды упоминать), что именно в момент выхода из-за довольно скромного праздничного стола, когда все вместе: дети и взрослые, – уселись играть в лото, и стали поочередно вынимать из никогда до этого не виданного Айзеком мешочка деревянные бочонки с написанными на них номерами, – именно в этот момент, и ни в какой другой, он впервые понял, что он еврей.

Понял, повторяем, интуитивно, нутром, на уровне вовсе не слов, а сложных внутренних чувств, но понял очень твердо, единственно, и на всю жизнь. Он, до этого отверженный и никому не нужный, был теперь не один, он принадлежал отныне к некоей общности бредущих через века и страны людей, и в случае опасности и сомнений мог обратиться к ним за помощью и поддержкой. Кроме отца с его трупами, заформалиненными головами, прозекторской и вечно пьяными санитарями, таскавшими по лестницам вверх и вниз своих вечных покойников, вместо конспирации и общественных нагрузок матери, которая полностью растворялась в этих общественных нагрузках и своей фальшивой любви к детям, – вместо ужасов отверженного двенадцатилетнего подростка у него неожиданно мелькнул в жизни луч надежды, и стал для него путеводной звездой, в чем-то сходной с Рождественской звездой, хотя, разумеется, и совершенно иной, которая отныне вела его вперед. Много позже, став взрослым, он так и будет до конца жизни разрываться между любовью к Звезде Христа и шестиконечной Звездой Давида, и не найдет в себе ни сил, ни мужества отказаться ни от одной из них.

Аркадия (Оск.)

Жизнь после смерти имеет свои преимущества: человек радуется уже тому, что может просто жить и дышать, ходя по тем же самым улицам, где, возможно, уже ходил когда-то, обращая внимание на ненужные никому, кроме него, детали. Окурок на углу возле фонарного столба; бумажка от съеденной кем-то конфеты, лежащая здесь с прошлой осени; лестница, круто поднимающаяся вверх, с осколками битого стекла на ступенях и плевками каких-нибудь забулдыг или подростков. В этом городе чересчур много плюются. Церковь как раз по курсу, к которой и ведет оплеванная неизвестно кем лестница, эта местная дорога к храму, сними кепи и перекрестись, сейчас самое время сделать это. Кстати, почему ты до сих пор ходишь мимо церкви с собакой? Она ждала меня, когда я был в больнице, бродя в этом проклятом туннеле, и даже выла по ночам, молясь, очевидно, таким способом своему собачьему богу. Бог един и для собак, и для людей, не преувеличивай ее способности, она просто верная псина, и не больше того. Это так, но все же, чьими мольбами я выбрался из туннеля: собаки или жены? Ты что, ополоумел, нельзя задавать такие вопросы! А какие можно, что можно вообще человеку, заново родившемуся в свои тридцать девять лет? Мне кажется, что ему можно многое; многое – это как? Не знаю, но, думаю, что многое, это многое. Хватит разговаривать сам с собой, люди подумают, что ты окончательно спятил. Спятил, так спятил, они и раньше о тебе думали так же.

Магазин спортивной одежды, вы не покажете мне вот этот плащ, охотно, можете примерить, если желаете, спасибо, я так в нем и пойду, а эту мою одежду заверните вместо платы, или можете оставить себе, мы не оставляем себе одежду клиентов, не оставляете, так не оставляете, я выкину ее в ближайшую урну. Кстати, за месяцы пребывания в реанимации у меня выросла борода, словно у Фиделя Кастро, а в этом плаще я прямо вылитый команданте, мне только кобуры не хватает сбоку на перевязи. Не говори чего не знаешь, на перевязи носили не кобуру, а шпаги, такие, как у Д'Артаньяна. Нет, к моей бороде и этому плащу до земли больше подходит кобура, как у славного команданте. Славного, или благословенного? Ты что, чокнулся, скорее не того, и не другого, скорее – незабвенного, или может быть даже пресловутого, но уж ни в коем случае не благословенного, команданте не может быть благословенным, на любом из них слишком много крови. А ты считаешь, что на благословенных тоже нет крови? Да на ином благословенном столько крови разлито и впиталось в него, словно в губку, что впору делать из него кровяные колбаски, нарезаая аккуратно на части, и заворачивая в бумажки любителям отведать человечинки и мертвечины! Ты что, не можешь не говорить на такие мерзкие темы? А я и не говорю о них вовсе, мне не с кем о них говорить, я просто о них думаю, думаю сам с собой. Ну и думай, если очень приспичило, только отойдя подальше от церкви, здесь слишком святое месте. Знаешь, для того, кто родился заново, любое место святое. Ну и пошляк же ты, от такого же слышу!

Море, мне кажется, не изменилось совсем, впрочем, ему и незачем меняться из-за одного внезапно воскресшего человека, оно впитало в себя столько мертвецов, что одним больше, другим меньше, все равно; живым или мертвым, ему абсолютно до лампочки: и все же оно другое, нельзя дважды войти в одно и то же море, идиот, это не о море, это о реке, это из Гераклита, а мне плевать, из Гераклита или из Пифагора, но море точно не остается тем, чем было вчера, у него все барашки на гребнях другие; зато идиоты все прежние, ты сам идиот, постыдился бы, ведь ты говоришь сам с собой, а мне все равно, я говорю с вечностью, а у нее все равны, что идиот, что семи пядей во лбу. Кстати, эта набережная, занесенная осенними листьями, и совершенно пустынная в ноябре, наводит на грустные философские размышления, не есть ли я со своей бородой и своим долгополым плащом неким сосланным за грехи команданте – сосланным на необитаемый остров, где, кроме него и собаки, да этих чаек, которых она по привычке облаивает, нет вообще никого? Остров одинокого команданте, бредущего по

призрачной набережной с пустой кобурой на боку, и вспоминающего о былых славных денечках? На эту тему можно написать приличную притчу. Вот и прекрасно, иди домой, и пиши, машинка уже заждалась тебя! А жена? не будь слишком наивным, жена вытащила тебя с того света, и опять укатила в Москву; опять, а давно? Да уже порядочно, ты что, не обратил на это внимание? Может быть, я и обратил, да только тебе не скажу! Не скажешь, вот и славненько, теперь тебе остаются одни твои притчи! Притчи, так притчи, пора домой к письменному столу и машинке, буду потом в мемуарах рассказывать, что ты мой соавтор.

Муки плоти (Оск.)

Живот у собаки раздулся и стал похож на бочонок. Мне кажется, она его нагуляла. Опять родит ублюдков, как в прошлый раз, которые будут бегать по городу и пугать прохожих своим непотребным видом. Весь город заполнен ублюдками, твоими ублюдками, смешением самых разных пород, которые воют по ночам на Луну, и мешают добропорядочным бюргерам видеть сладкие сны. Здесь не Германия, здесь нет бургеров. Ну тогда обывателям, шелкоперам, мастурбаторам, похитителям чужих снов, извращенцам, просыпающимся по утрам с постными лицами, ищущими в кармане копеечку, чтобы подать ее в субботний день нищим у церкви. Не стоит все валить на собак, рожденных неизвестно от кого и неизвестно в каких обстоятельствах, их ублюдочность ничем не хуже ублюдочности их хозяев. Добропорядочных мельничих, держателей притонов, трактиров и исправительных учреждений, именуемых средними школами, пекарей, блюющих в чаны с закваской, отчего получившийся хлеб становится потом особенно пикантным и вкусным, массажисток, душащих свои жертвы шелковыми шнурками, и девушек, развращаемых рогами собственного целомудрия. Ублюдочности, одним словом, в этом городе хватает на всех, это вполне добропорядочный город, не хуже, во всяком случае, и не лучше других городов, а вот собаке действительно пришло время рожать, только, боюсь, она не сможет сама это сделать, слишком много шпицев, водолазов, борзых и иных кобелей, включая бульдогов, боксеров и гончих, истекаемых соком и вожделием, потрудила над ее животом, – здесь без ветеринара никак не обойтись, придется на время оставить свои притчи и отправиться на поиски собачьего лекаря, ах, жучка, ах, ты еще можешь самостоятельно двигаться, или тебе придется нанять собачью тележку, симпатичного собачьего рикшу, развозящего собачьих рожениц по ветеринарным лечебницам?

Привет, парень, мне кажется, что эта собака не может родить. Дело обычное, отвечает мне он, слишком много кобелей потрудились над ее животом, в нем, наверное, такое сейчас наворочено, что похоже на выставку из самых лучших пород, или на притон для бродячих собак. Вот точно так же я ей говорил. Так ты поможешь ей? Разумеется, разумеется, всего лишь один небольшой укол, и матка этой прелестной суки будет сокращаться со скоростью стартующей к звездам ракеты. Да ты, парень, поэт, ты не пробовал писать что-то в роде стихков, или даже притч на тему местных ублюдочных нравов? Поработайте с мое в лечебнице, так не то, что стихки, но даже имя свое написать внятно не сможете, здесь целыми днями или суки, не способные самостоятельно разродиться, или бешеные коровы, норовящие пырнуть тебя спиленным рогом, или хряки, которые не хотят холоститься. Ну хорошо, хорошо, стихи и притчи придется тогда писать мне, раз здесь, кроме ублюдков, что человеческих, что собачьих, да уставших ветеринаров, ровным счетом никого не осталось.

Он колет собаке в живот, а она лежит кверху лапами, и напоминает бочонок с сельдями, из которого сейчас начнут черпать пьянствующие в трюме матросы, вся эта перепившаяся во время бури матросня, лакающая водку и ром за пять минут до конца света.

– Обратите внимание, – говорит мне вежливый ветеринар, – как быстро подействовало лекарство. Матка у вашей суки уже начала сокращаться, и первый, как правило, самый активный щенок, сейчас покажет свою головку.

– Первого ты мне оставь, а также второго, который, очевидно, тоже активный, а остальных усыпи, мне с ними со всеми не справиться, мне еще притчи надо закончить, да и ублюдков плодить тоже не хочется, их и без меня в этом городе плодят предостаточно.

– Никаких проблем, масса, – отвечает этот начитанный ветеринар, – как масса скажет, так Том массе и сделает. У нас тут во дворе целое кладбище новорожденных щенков, а также дохлых собак, кошек, коров, и чего еще сами хотите!

– Я вообще-то ничего не хочу, – отвечаю я ему, – мне бы только не наплодить лишних ублюдков, так что ты, парень, постарайся, я летом, когда заработаю на своих притчах, приду, и отблагодарю тебя, как положено.

– Я к тому времени сойду с ума, – отвечает он, принимая в руки первого показавшегося щенка. – Ладно, выпью с вами после работы, у нас для этих целей есть медицинский спирт, мы им лечимся, как умеем.

– А дезинсекцию, то есть, прошу прощения, анестезию, вы чем делаете?

– А ничем, – улыбается он, вынимая из небытия второго щенка, – пусть будут довольны тем, что их, сук, вообще обслуживают по первому разряду – сначала кобели в подворотнях, а потом мы, героические ветеринары.

– И то правда, – отвечаю я ему, наблюдая, как он складывает остальных щенков в жестяную коробку, а затем усыпляет их один за другим из одного огромного шприца, наполненного какой-то мерзкой отравой. – И то правда, если их, сук, не обслуживать по первому классу, они, чего доброго, совсем озвереют, и не только собаки, но и все остальные. А скажи мне, парень, что это ты про массу тут рассуждая? Ты что, читал про хижину дядюшки Тома?

– Я вообще человек очень начитанный, – ухмыляется он во весь рот, усыпляя последнего, дохлого, очевидно, щенка, и бросая пустой шприц на заляпанный кровавыми пятнами металлический стол. – Я вообще человек очень начитанный, и если бы не эти гулящие суки, и спирт, который приходится после них пить, я, возможно, стал бы писателем.

– В этом городе и без тебя хватает писателей, – говорю я ему, – они здесь рождаются от сырости, как тараканы, или как собачьи ублюдки, воющие по ночам на Луну. Здесь вообще никого нет, кроме писателей и ублюдков разных мастей. Один вот ты, Том, ветеринар, и остался.

– А вы, масса, кто? – спрашивает он у меня.

– А я, Том, писатель.

– Я так и знал, – отвечает он, – только писатель мог довести свою суку до подобного состояния. Еще бы час, и она у вас вообще околела.

– Это было бы очень некстати, – отвечаю ему, – я привык работать с соавтором.

– Шутите? – Опять улыбается он во весь рот. – Ладно, пойдёмте закопаем щенков, возьмите за дверью лопату, а я понесу этот биологический материал. Надо же, тут и черненькие и пестренькие, и совсем беленькие, весь цвет собачьей нации, если можно так выразиться!

– В тебе, парень, действительно пропал очень большой писатель, – говорю я ему, и, взяв за дверью лопату, выхожу во двор, навстречу яркому весеннему солнцу.

Мы заходим за угол, и я рою ямку в на удивление мягкой и свежей земле. Цветочки и травка вокруг создают ощущение полнейшей идиллии.

– У тебя здесь, Том, как в раю, – говорю я ему, – яблони цветут, и эта трава, на которой хочется лежать и думать о вечности.

– Через год, после ваших щенков, трава здесь будет еще выше и еще зеленее, – отвечает он, вываливая в ямку обмякшие пестрые тушки, и улыбаясь яркому весеннему солнцу. – Ладно, закапывайте быстрее, я и так потерял с вами много времени, мне еще у коровы надо принять роды, и борова охолостить в дальнем селе. А что это вы, кстати, говорили про гонорары, которые скоро получите, и про то, что готовы со мной расплатиться? Вы меня не обманываете?

– Я, Том, вообще никого не обманываю, – отвечаю я ему, старательно зарывая ямку с убиенными этим доктором Менгелем щенками, и глядя ему прямо в глаза. – Я вообще человек очень правдивый, и ты можешь мне верить.

– А-а-а, – неопределенно говорит он, – ну тогда до встречи.

– До встречи, Том, – говорю я, – и да помилует тебя Господь в своем человечьем и зверином раю!

Атлантида (Оск.)

Снежные тучи сползают с гор, словно лавины, заполняя собой всю долину до самого моря, кубические постройки за окном напоминают дворцы исчезнувшей Атлантиды. Кто-то кричит на улице, подражая крику раненного пехотинца. Ощущение нереальности заполнило собой все сознание. Атлантида всплыла со дна Атлантического океана, и сделала меня своим вечным пленником.

Станционный смотритель (Оск.)

Голос дочери по телефону. Три года, как она здесь не живет. Говорит, что приедет из Москвы погостить. С другом. Лучше не приезжай, говорю я, не хочу быть станционным смотрителем. Что еще за смотритель, смеется она. Ты что, забыла все, о чем тебя обучали в школе? Станционный смотритель – это когда дочь внезапно покидает отца, уехав в столицу с другим человеком, а потом возвращается, разодетая в бархат и немислимые шелка, посмотреть на убогое существование родителя.

– Сейчас не носят ни бархата, ни шелков, – опять смеется в трубку она, – сейчас совсем другое время.

– Время всегда одинаковое, – отвечаю я ей, – что для Пушкина, что для меня, мы, кстати, не раз говорили с ним об этой проблеме. Так что если имела смелость сбежать отсюда, то имей такую же смелость не приезжать.

– Я подумаю, – опять смеется в трубку она, и начинает говорить о такой немислимой чепухе, что я всерьез опасаюсь, не есть ли я действительно тот самый станционный смотритель?

Небытие (Оск.)

Май месяц, вой ветра над долиной Аркадии. Пейзажи и руины все те же, что были три тысячи лет назад. Небытие вторгается в бытие. Смысл перемешивается с немислимым. Вот так, очевидно, незаметно, аки тать в ноци, в жизнь людей вползает безумие.

Истоки (Изык.)

Пройдет много лет, прежде чем Айзек Обломов, решив стать писателем, превратится в Айзека Обломоффа, взяв себе этот странный, и многих шокирующий псевдоним. Автор данного исследования уверен, что по этому поводу со временем будет немало споров, но что несомненно, так это несколько эпизодов из детства, которые повлияли на всю дальнейшую жизнь Айзека. Об одном из них, а именно о первом, робком еще осознании того факта, что он не такой, как все, что он другой, – позже это выльется в понимание того, что он еврей, – об одном из таких фактов из детства Обломоффа мы уже рассказали. Расскажем еще о нескольких. Прежде всего, это знаменитая попытка самоубийства, которая со временем, я уверен, будет экранизирована, о которой несомненно напишут романы, рассказы, эссе и пьесы, и которая еще больше отдалила Айзека от родителей, чем это было в начале его робкого и несмелого жизненного пути. Отношения с отцом – патологоанатомом, вокруг которого, казалось, незримо стояли и висели все распотрошенные им мертвецы, у Айзека не сложились с самих первых лет детства. Если же говорить откровенно, то их не было вообще: отец мальчика не любил, и это выросло в стойкий Эдипов комплекс, который, в итоге, породил немало произведений Обломоффа, резко отрицательно описывающих облик отца. Но, как уже говорилось, все это, то есть произведения Айзека, появятся в будущем, а пока же он просто старался выжить в русско-еврейской семье, рядом с деспотом и самодуром отцом, жестоко высмеивающим любую его слабость, и даже, как это ни чудовищно звучит, делающим иногда поползновения совсем иного рода и смысла. Гомосексуальные наклонности отца станут понятны Айзеку гораздо позже, он, собственно говоря, вычислит по своим наблюдениям детства весь отвратительный и отталкивающий садомазохизм этого все более и более сходящего с ума патологоанатома, подозрительно много времени проводившего в мертвецкой среде среди своих распотрошенных и заформалиненных голов и трупов и подозрительно часто любящего причинять людям боль. Не довольствуясь своими свеженькими, а иногда и глубоко протухшими покойниками, отец все более пристально, весь пропитанный своими садомазохистскими и гомосексуальными фобиями (такими же фобиями, надо сразу отметить, были пропитаны и два его помощника – фельдшера), – не довольствуясь своими преступными и отвратительными оргиями в мертвецкой, на которые начальство и жена закрывали глаза, отец все более и более нежно поглядывал на Айзека, иногда даже сладострастно и грубо гладил его волосы, и у мальчика от этих прикосновений ненавистного ему человека все холодело внутри и пробегала по телу дрожь, как от предчувствия близкой и неминуемой гибели. Все эти ощущения, весь этот комплекс страшных и отвратительных воспоминаний детства выльется потом в целую серию романов, принесших ему заслуженную славу. Пока же двенадцатилетний Айзек просто пытается выжить, все больше и больше склоняясь к мысли о самоубийстве, ибо выжить в таких невероятных условиях стремительно взрослеющему мальчику было просто невыносимо.

Отношения с матерью, пусть более нежные и человечные, чем с отцом, тоже нельзя было назвать нормальными. Любовь матери к Айзеку была насквозь фальшивой и приторной, она отдавала фарисейством, о котором, разумеется, в те годы ребенок и слухом не слыхивал, и тоже приближала его к тому роковому решению покончить с собой, о котором в литературе об Айзеке Обломоффе так много сказано, и, я уверен, будет сказано еще больше. Содомия отца, фарисейство матери, отверженность в среде своих сверстников, – все это, по большому счету, совсем не случайно, все это слишком древнее, слишком еврейское, возможно, специально выплывшее из глубины веков как раз для того, чтобы вскрыть, как скальпелем, еврейскую грудную клетку Айзека Обломова, вынуть из нее бессмертную душу, и сделать его наконец-то Айзеком Обломоффым, русско-еврейским писателем, объединившим между собой эти

две великие культуры, и сделавшим в литературе и в реальной жизни то, что до него не делал еще никто. Или, по крайней мере, почти никто.

Собственно говоря, попыток самоубийства в детстве у Айзека Обломоффа было две. О первой, происшедшей в двенадцать лет, и вызванной конфликтом с родителями, мы почти ничего не знаем, поскольку достоверных сведений о ней почти не осталось, а те источники, которые все же сообщают об этом событии, довольно туманны и не заслуживают доверия. Собственно говоря, таковы почти все источники, имеющиеся сейчас у биографов Обломоффа, и лучше всего в данном вопросе ориентироваться на его литературные произведения, многие из которых почти с биографической точностью рисуют разные картины из жизни писателя; в частности, в романе «Путь в Никуда» во всех деталях обрисована вторая попытка самоубийства, случившаяся в шестнадцать лет, во время поездки в Ялту на концерт джазовой музыки, даваемый студентами и преподавателями Калифорнийского университета. Всякий, кто читал его роман, помнит, конечно, отчаяние и безнадежность главного героя, Стива Петрова, прототипом которого был сам Айзек, его отчаянные попытки найти хоть какую-то логику в поведении и жизни родителей, его одиночество среди компании шумных сверстников, прослушивание по вечерам запрещенных в то время радиостанций (разумеется, западных), одна из которых и сообщила о предстоящем в Ялте концерте. От Аркадии, в которой жил Айзек, до Ялты примерно двадцать пять километров, их соединяет прекрасная троллейбусная трасса, по которой будущий писатель путешествовал множестве раз и с родителями, и в компании сверстников. Роман построен на контрастах, на отчаянных метаниях героя от одной крайности – к другой, от отчаяния – к надежде, и здесь нет большой надобности его пересказывать, ибо содержание этого произведения всем хорошо известно: герой решает навсегда уйти из дома, он пишет прощальное письмо родителям, обвиняя их в черствости и жесткости, садится в троллейбус, и вечером уже сидит в ялтинском театре, где как раз начинается знаменитый концерт. Все это сопровождается размышлениями о жизни и смерти шестнадцатилетнего юноши, его мысленными диалогами с близкими и немногими друзьями, его последними попытками примирить себя с жизнью, и неутешительным выводом, что в этой жизни места ему уже не осталось.

Нет никакого сомнения, что после концерта Айзек действительно собирался подняться в горы, и, на рассвете, сказав последнее прости этому миру, кинуться вниз с высокой скалы. Этого, как мы знаем, не произошло, герой «Пути в Никуда», слушая американских джазистов, преобразается душой и телом, воскресает духовно, и буквально возвращается из небытия. Этот мотив – спасение музыкой, переход через грань, через пучину отчаяния, путь из бездны к свету, – будет теперь, как рефрен, кочевать из романа в роман Обломоффа. Более того, он теперь смертельно, на всю жизнь, влюбится в джаз, и станет его горячим поклонником и ценителем. Он станет через много лет завсегдатаем московских полуподпольных джаз-клубов, и будет лично знаком со многими выдающимися музыкантами-джазменами своего времени. Названия джазовых композиций очень часто станут названиями его романов, повестей и рассказов, и даже стиль жизни, – свободный, импровизированный, ироничный, – станет у него теперь джазовым, словно напоминая о том страшном и трагическом поначалу вечере в Ялте, когда шестнадцатилетний Айзек, решившийся убить себя, прошел через ялтинскую набережную в холл театра, спасшего его от рокового решения. В романе хорошо описывается сам джазовый концерт, преобразование в душе Айзека, вызванное свободной и незнакомой ему музыкой, его решение остаться жить, решимость переждать смутные времена, судорожные затяжки сигаретами в духоте и туманах майской ялтинской ночи, и, наконец, как награда за все, его знакомство с женщиной, ставшей его первой и неожиданной любовью.

К слову сказать, мотив самоубийства, преодоленный музыкой и глубочайшими внутренними переживаниями, приводящий к новой, неожиданной и страстной любви, будет отныне звучать в каждом новом романе Обломоффа, и никуда исчезнуть уже не сможет. Музыка, смерть и любовь, возрождающие героя к жизни – все это было у Айзека в ту незабвенную

ялтинскую майскую ночь, и все это, волшебным образом повторяясь через определенное количество лет, будет сопутствовать его в странной и блистательной жизни.

После концерта залетных американских джазистов, окончившегося уже под утро, Айзек действительно поднялся в горы, но не один, а с женщиной, которая была старше его на десять лет. По странной случайности, или быть может, по неслучайной закономерности, все его последующие любви будут также значительно, или, по крайней мере, на несколько лет старше его, и то же самое повторится с литературными героями писателя. Он пробыл в Ялте три дня, во время которых его почти никто не искал, – родителям, как ни странно, было некогда заниматься таким пустяковым вопросом: отец опять кого-то вскрывал в своей страшной и безнадёжной мертвецкой, устраивая потом со своими подручными мрачные содомские игры, а мать, озабоченная судьбами детей всего мира, пылала к ним такой пламенной любовью, что на ее фоне пропажа Айзека походила на жалкую песчинку, втоптанную в золотой песок на берегу всемирного океана любви. Записку же решившего покончить с собой подростка, кажется, нашла и спрятала его сестра, о которой нам мало известно, и вернула ему назад спустя многие годы. Эти безумные три дня и ночи, безусловно, сыграли если не главную, то, во всяком случае, очень большую роль в жизни Айзека, и умолчать о них мы, разумеется, не могли.

Еще одним любопытным событием из детства Обломоффа, практически никому неизвестном (мы, во всяком случае, не нашли упоминание о нем ни у одного из биографов писателя), является конфликт с директором школы, в которой учился Айзек. Отголоски его, тем не менее, можно найти в том же романе «Путь в Никуда», и, сопоставив с некоторыми другими, известными только нам свидетельствами, полностью реконструировать картину происшедших событий. Директор, разумеется, был начетчиком, человеком крайне реакционных взглядов, преподававшим историю с точки зрения правящего в стране мировоззрения, и эта его внутренняя фальшь, хорошо понятная всем ученикам в классе, особенно возмущала Айзека. Однако, в отличие от остальных, прекрасно уже в школьные годы понимающих благостную роль приспособленчества, он не мог сдерживаться, и постоянно попадал в конфликтные ситуации. Патологическая любовь к справедливости была, разумеется, оборотной стороной его Эдипова комплекса, оборотной стороной несправедливости и террора в семье, которые вынуждали его конфликтовать со всем миром, обостренно чувствуя фальшь и неправду, буквально разлившую в тогдашнем обществе. Конфликт с директором начался из-за какого-то не то исторического, не то даже сугубо философского факта, и перерос в проблему таким масштабом, что встал вопрос об исключении Айзека из школы. Ему припомнили и обидные прозвища, которые давал он директору, такие, как «старый козел» и «хромой уклонист» (на уроках истории как раз изучали левый и правый уклон в партии), припомнили уж заодно и высказывание наглое и зарвавшегося юнца о супруге директора, напудренной даме неопределенного возраста с огромным, похожим на картошку носом, которую все, вслед за Айзеком, величали не иначе, как «наша старая Бульба» (подражание герою Гоголя, противоположного, правда, пола, если у оной дамы вообще имелся какой-то пол). Положение Айзека было аховым, он опять балансировал на волоске, его отстранили от экзаменов, и он ловил на диком пляже бычков, купался в море, и загорал дочерна, пока товарищи его корпели над учебниками и готовили длиннющие и малоэффективные шпаргалки. Спасло его только чудо, или, возможно, вмешательство некоего литературного бога, вроде Аполлона, водителя Муз, прозревшего сквозь года и века будущую литературную славу Обломоффа. Хотя последний не уставал впоследствии говорить, что Аполлон не любит его, что он скорее приверженец Диониса и Вакха, водителей совсем иных хороводов, культов и настроений. Каким-то чудом, повторяем, Айзеку удалось закончить школу, и впереди уже не было никаких препятствий, способных помешать превращению критически и мрачно настроенного юноши в не менее критического писателя.

Все его будущие сатирические пьесы и статьи вышли именно отсюда, из школьных конфликтов, и старый седовласый, хромой и реакционный директор, которого теперь до смерти

все называли козлом, и его напудренная жена с еще больше раздавшимся во все стороны носом сыграли в литературном становлении Айзека наипервейшую роль; прошлое цепко держало его за горло, и, как любил он всегда повторять, за хобот и хвост, и нам, как исследователю его творчества, совершенно ясно, что он и не пытался никогда избавиться от его мертвой хватки. Он вышел из школы закаленным полурусским-полуеврейским бойцом, одновременно и ранимым, и готовым к любым поворотам судьбы, познавшим уже и сладостный вкус любви, и горечь самого жестокого поражения. Рано повзрослев и рано познав людей, он научился и любить, и ненавидеть их, получив за свои испытания некое сверхзнание, дающееся в этом мире лишь немногим. Сверхзнание, за которое в дальнейшем ему пришлось заплатить слишком дорогую цену.

Всё наоборот (Изыск.)

О черт! О черт! О черт! О как же я ошибался в своих суждениях, представляя Айзека Обломовфа вышедшего из школы эдаким холодным и несгибаемым суперменом, готовым к любым трудностям жизни! Это было не так, и этот юноша, этот семнадцатилетний юнец, только казался таким, а на самом деле был нежным и крайне ранимым, как хрупкий цветок, совсем не приспособленный к порывам жестокого ветра, дующего над равнинами человеческой жизни. О черт, как же я жестоко ошибался, мне хочется порвать все написанное мной об Айзеке, но я вынужден сдерживать себя, боясь вместе с водой выплеснуть из ванны и ребенка. Собственно говоря, эти мои критические по отношению к самому себе суждения относятся к показаниям некоторых свидетелей, необычайно в свое время близких к Айзеку, имена коих я раскрывать не хочу, а также к записям самого Айзека, совершенно случайно попавших в мои руки, о которых он, разумеется, давным-давно позабыл. Из них становится очевидно, как трудно переносил Айзек свой вечный конфликт с родителями, как он был одинок в кругу своих сверстников, и как судорожно пытался он схватиться, словно за соломинку, за некий идеал, поискам которого предавался и днем, и ночью. Заметим кстати, что это его вечное стремление к идеалу заставляло впоследствии писателя множество раз перерабатывать свои собственные произведения, так что они в итоге буквально теряли первоначальные формы, и превращались порой в свою противоположность. Страсть к идеалу была его вечным бичом, именно из-за нее не мог он выбрать себе подругу в жизни, и постоянно попадал в зависимость то от одной, то от другой недостойной женщины. Впрочем, его отношения с женщинами, женами и так называемыми подругами подробно описаны в его сочинениях, в которых женская тема со временем становится чуть ли не самой главной. К его литературным сочинениям мы со временем обязательно вернемся, здесь же, поскольку речь зашла о поиске идеала, самый раз поговорить о еврейских друзьях Айзека, приведших его в революцию.

Он давно уже понял, кто он такой, еврейская кровь в его жилах струилась так же ровно и страстно, как кровь русская, и он порой не знал сам, кто же он на самом деле: еврей, или русский? Это, кстати, еще больше усиливало его отчуждение от людей, но одновременно и судорожно заставляло искать друзей, среди которых, разумеется, хотел он этого, или нет, было много евреев. Можно даже сказать, что евреев среди его друзей было подавляющее большинство, и уже много позже, вспоминая свои школьные годы, он тут и там наталкивался на фамилии еврейских детей, которые на какое-то время становились его друзьями. Он постоянно искал новых контактов, его дух и внутренняя энергия постоянно бурлили, ища для себя новых точек приложения, он постоянно пытался сблизиться с новым, интересным на первый взгляд человеком (как, впрочем, и постоянно хватался за новое дело, вроде собирания марок, которое он, как и разведение в аквариуме рыбок, вскоре с отвращением бросил, поняв, что это не что иное, как разновидность обыкновенного онанизма), — он постоянно сближался с новыми людьми, и постоянно, поняв их ничтожность и ограниченность, в ужасе отшатывался назад, уходя в раковину вечного одиночества и отверженности. Именно в это время он познакомился с человеком, который буквально перевернул его изнутри и ввел в совершенно новый мир, о котором раньше Айзек даже не подозревал. Это был страшный, черный, похожий даже в чем-то на зверя, неопределенного возраста (хотя, по расчетам Айзека, ему было не более тридцати), заросший густой бородой, сразу же напомнившей ему бороду Карла Маркса, еврей по фамилии Айзенштадт. Звали его Иосифом. Айзенштадта постоянно сопровождала хрупкая русская девушка, школьная учительница литературы, бросившая ради своего любовника семью и работу, которую звали Люсей, и в которую Айзек, разумеется, с первого взгляда влюбился. Айзенштадт был прирожденным революционером, идейным последователем Карла Маркса (именно поэтому носил он такую же роскошную бороду), учение которого, как ему казалось,

совершенно бессовестным образом исказили. Планы у Айзенштадта были самые грандиозные, он и его последователи планировали ни много, ни мало, как государственный переворот в стране, и активно вербовали в свои ряды новых сторонников. Айзек сразу же окунулся в самую гущу революционных идей и проектов, среди которых были относительно безобидные, вроде свободной торговли золотом и легализации проституции, и гораздо более смелые, включающие покушения на высших чинов в государстве. Однако более всего начинающего революционера Айзека Обломоффа поразили эрудиция Люси Антоновой, свободно цитирующей Ремарка и Хемингуэя, которых будущий писатель в то время боготворил. Влюбившись в Люсю, он влюбился и в революцию, которой оставался верен до конца своей жизни (или, по крайней мере, до конца известной нам жизни). Когда вскоре после этого Айзенштадта и всю головку организации арестовали, он продолжал встречаться в Москве с их сторонниками, интуитивно понимая, что присутствует при чем-то большом и важном, что в его жизни появился смысл, которого не было у миллионов равнодушных, глухих и слепых, живущих рядом с ним людей. Это непростое и увлекательное время много позже будет описано Обломоффым в романе «Кровь на снегу», к которому мы в свое время обязательно подойдем. Читатель этих заметок, разумеется, знает, что одной из героинь этого нашумевшего романа является русская революционерка Катя Филиппова, умершая от туберкулеза в Сибири, куда она последовала за своим сосланным мужем. Нетрудно догадаться, что речь на самом деле идет о Люсе Антоновой и Айзенштадте, которые, впрочем, никогда не были, по крайней мере официально, мужем и женой, но которые действительно были сосланы в Сибирь, где Люся вскоре и умерла. Фактический материал, таким образом, будущий писатель черпал из самой жизни, ему не надо было ничего придумывать и высасывать из пальца, а лишь слегка изменять имена друзей и канву происходящих вокруг событий. Именно так и поступают все великие сочинители, к которым, я в этом уверен, с полным правом принадлежит и Айзек Обломофф.

Амнезия (Оск.)

Добрый вечер, любуетесь видами набережной? Сейчас уже довольно поздно, и не видно окрестных гор, а только отблески от огней на воде, но тоже очень красиво, и закаты не видно, и восходов, и полуденного Солнца, когда оно играет на спокойной воде своими бесчисленными отражениями, и слепит глаза так нестерпимо, что вполне можно ослепнуть, если не ходить без очков. Вы надеваете очки в полуденный зной? Не надеваете, но ведь так вполне можно ослепнуть. Впрочем, я тоже не надеваю, но совсем по другой причине. По какой? Мне, видите ли, все равно, ослепну я, или нет, я в некотором роде уже слепой. Как это понимать? Я и сам толком не знаю. У меня, видите ли, амнезия, потеря памяти, или что-то вроде того, я пережил клиническую смерть, и не помню ничего, что было до этого достопримечательного происшествия. Почему достопримечательного? Да потому, что в клинической смерти есть множество собственных плюсов, как, впрочем, и минусов, выходишь из нее совсем другим человеком. Из нее, и из того туннеля, в который она вас загоняет. Заталкивает. Засасывает, ну и так далее, до бесконечности. Слышали про такой туннель? Вот как, вы изучали медицину? Психологию? И все про это знаете? Тогда с вами легче. Ну так вот, войдя в этот туннель, а потом покинув его, никогда не знаешь наверняка, ты ли это вернулся назад или кто-то другой, вполне возможно, что тебя уже изменили, и ты уже не тот, или вообще не тот, который вошел туда, и видел все эти ужасы, о которых я вам не буду рассказывать. Зачем, ведь они подробно описаны до меня теми, кто тоже вернулся оттуда. Я поэтому опущу все экзотические подробности, вы, как специалист, знаете о них досконально, и только лишь замечу, что не уверен до конца, я ли это вернулся обратно живым? Я это уже вам говорил? Ну что же, не лишне напомнить еще раз, чтобы никто не забыл, в том числе и я сам! А вы не очень крупный специалист по психологии, вы еще только учитесь, и мой рассказ вам интересен, как добавление к пройденному материалу? Ну что же, тут рассказывать особо нечего, я не помню ничего, что было до моего ухода в туннель, или, во всяком случае, почти ничего. Что значит почти ничего? Это значит, что какие-то цветные пятна мелькают перед моими глазами, доносятся голоса, и даже отдельные фразы, я ощущаю запахи, и вообще отчетливо знаю, что если напрягусь, то вспомню все-все-все. Но, знаете, мне почему-то нет охоты делать это. Я боюсь, что вспомню совсем не то, что мне хочется, и поэтому предпочитаю жить так, в наполовину отрезанном мире. Есть ли у меня семья, спрашиваете вы? Да, есть, жена и дочь, они живут в Москве, и приглашают меня к себе. Не очень настойчиво, но вполне внятно, так что я, возможно, брошу здесь все, и рвану к ним навсегда, или почти навсегда. Если бы не собака, вот эта рыжая колли, которую вы сейчас гладите, я бы давно это сделал. Кстати, прошу вас, не гладьте ее по носу, она этого не любит, и может запросто укусить; один вот недавно на пляже тоже не верил, что колли могут кусаться, хоть я его я предупреждал. И она его уметила прямо в левый глаз. Неужели в глаз? Да, да, именно в глаз, ведь у нее длинная морда, а зубы такие, что она бревна перегрызает. Не волнуйтесь, с парнем ничего не случилось, немного пустила кровь, и не более того, она умная, и понимает, когда надо кусать по-настоящему, а когда лишь попугать. Совершенно верно, раз есть собака, то есть и дом, где мы с ней живем, а до этого жили с женой и дочерью. Но тогда очень просто узнать, кто я такой, и кем был до клинической смерти! То есть спросить об этом соседей, посмотреть дома документы и письма, спросить, наконец, по телефону у жены и у дочери. Да, разумеется, теоретически это возможно, но на практике не получается решительно. Как только я начинаю выяснять, кем же я был до того, как умер, а потом вернулся назад, что-то внутри меня настойчиво начинает противиться этому, я испытываю невероятный испуг, и мир словно бы разбивается на тысячи мелких осколков, так что я даже в зеркале не могу увидеть собственного лица, и оно представляется мне разбитым вдребезги. Мне гораздо легче считать себя родившимся заново, и не заглядывать за тот занавес, который отделяет про-

шлое от настоящего. Собственно говоря, это для меня единственная форма существования, и другой просто нет. Вы хотите помочь мне? Пойти ко мне домой, посмотреть мои документы, почитать вместе со мной письма и дневники (я вам не говорил про дневники, ведь я литератор, и веду их довольно долго, но вы сами догадались об этом?), – вы думаете, что вот так, за просто живешь, за красивые глаза, сможете узнать, кем я был до *того*? Милая девушка, вы-то, вполне возможно, и узнаете это, но я-то ведь не узнаю, вот в чем вопрос! Вы думаете, никто до этого не пытался помочь мне, и подсказать, хотя бы просто прошептать на ухо мое настоящее имя? Пытались множество раз, и очень настойчиво, но безуспешно, прошлое уже навсегда закрыто для меня завесой и тайной. Возможно, в нем существует нечто такое, с чем вновь столкнуться я не хочу, возможно, что-то другое, это сейчас совершенно не важно. Важно то, что прошлого не существует, я родился заново, а заново дышу этим прекрасным миром, этими запахами, звуками и мечтами, этими пейзажами, закатами и рассветам, этими знакомствами и сведениями из жизни людей, всеми этими милыми пустяками, которые я описываю в своих скромных притчах. Вы еще не читали мои притчи, ну тогда я обязательно вас познакомлю с ними! Встретимся еще раз, завтра, на этом же месте? Встретимся, непременно, я очень заинтересовал вас, и моя собака тоже, она очень похожа на хозяина, такая же откровенная, и готова идти на контакт? О, милая незнакомка, – да, да, не настаивайте, сегодня мы не будем представляться один другому, сегодня все должно быть юным и свежим, полным запахов весны и тайн, как та душа, которая только что вернулась с того света, – о юная девушка, сколько всего смогу я рассказать вам в следующее свидание, сколько своих самых последних притч вам прочитаю! Не будем жать друг другу руки, не надо, простимся глазами, этого достаточно, можете лишь пожать лапу собаке, она это любит. Вот так, так, медленно, отступая на шаг, на два, и на десять назад, мы прощаемся с вами, словно не увидимся уже никогда.

Библиотека (Оск.)

Я занимаюсь в библиотеке, ишу там материал для своих новых притч, а собаку привязываю под окнами, поскольку с собой в читальный зал взять ее, естественно, невозможно. Время от времени она начинает лаять, и тогда мне приходится высовываться из окна и успокаивать ее. Сонные библиотекари, которые одурели от одиночества и от скуки (в читальном зале, кроме меня, всего лишь еще один человек), рассматривают все это, как бесплатное развлечение, вынося моей шавке воду в тарелке и конфеты, от которых она презрительно отворачивается. Интересно, что будет, если я скажу, что она больше бы предпочла ляжку от них, или кусочек окорока? Наверное, обидятся, так что не стоит этого делать. Я сижу здесь уже три часа, и собака под окном совсем извелась, не пьет воду, и непрерывно лает, так что пора уходить, тем более, что я нашел уже все, что хотел. Путешествие Екатерины в Крым, Потемкинские деревни, Екатерининские версты, Черноморский флот, роскошная свита из скоморохов, художников, ученых и лицедеев, министров разного звания, придворных фрейлин, издателей, печатающих специальный журнал путешествия, – этого хватит, пожалуй, больше, чем просто на притчу. Сейчас я встану, отдам материалы, поблагодарю, и выйду на улицу, и человек, сидящий за соседним столом, сделает то же самое. Любопытный тип, он здесь специально, чтобы караулить меня, не знаю, по своей воле, или по чужой. Мы с ним уже разговаривали недавно, он представился как школьный учитель, ищущий что-то для своего факультатива, но я не очень-то верю ему. Уж больно он настырный и липкий, неприятно прижимается к тебе всем телом, и шепелявит при разговоре, так что капельки слюны даже падают тебе на лицо. К тому же, у него нет двух или трех пальцев на левой руке, и он искусно прячет ее за спину. Давняя привычка. Беспальный. Я его так и зову про себя. Сегодня Беспальный опять увязался вслед за мной и собакой, поспешно сдав дежурной по читальному залу свои книги, которые, по-моему, даже и не открывал, и бросившись вниз по ступенькам, словно в библиотеке начался пожар. Словно он специально поджег ее, и теперь замечает следы, настырный малый, неопрятный, и очень настырный. Что ему от меня надо? Сейчас опять будет прижиматься всем телом, и что-то шепелявить про свою школу и факультатив, который он обязан вести с отстающими учениками. Он, несомненно, ненавидит и самих учеников, и весь мир в придачу, таких обычно и нанимают в стукачи. Или вербуют, поймав однажды на чем-то серьезном. Или, наоборот, на чем-то мелком и гадком. Моего Беспалого, разумеется, поймали на чем-то мелком и гадком. Судя по тому, как он норовит прижаться ко мне, он то же самое проделывает и со своими учениками, непонятно только, какого пола? Возможно, что и с теми, и с другими, надо сыграть на этом, и отвязаться от него окончательно.

«Вы любите детей?» – спрашиваю я у него.

«О да, я обожаю их! – Ослабился он сейчас же в улыбке. – Таких, знаете ли, маленьких, пухленьких задира и шалунов, со своим неповторимым запахом, от которого просто дух иногда захватывает! Вы знаете, ведь от детей пахнет не так, как от взрослых, от них пахнет, как от новорожденных котят, или щенят, или даже крысят, вы не знаете, как пахнет от новорожденных крысят?»

«Нет, к сожалению, не приходилось сталкиваться с этим. А что, запах очень приятный?»

«Не то слово, он просто восхитительный, и я не променяю его на все блага мира! Но самое удивительное, это сходство запаха детей и новорожденных крысят, в этом есть какая-то мистика, это невозможно объяснить, но это именно так!»

«Чего только не бывает на свете, есть, знаете, многое на земле и небе, что не подвластно мудрецам этой земли!»

«О, вы цитируете Шекспира, вы, наверное, литератор?»

«Как вы догадались?»

«У меня особый нюх на подобных людей, я, знаете ли, сам преподаю в школе словесность!»

«Вот оно что, а прошлый раз вы, помнится, говорили, что увлекаетесь астрономией и естественными науками!»

«Нет, нет, что вы, это лишь увлечение, а не больше того, просто я человек очень разносторонний, и стремлюсь соединить в себе разные ветви знания. Роюсь, знаете ли, в библиотеках, нахожу редкие книги, пытаюсь знакомиться с интересными людьми, но основной предмет мой – словесность, я предан ему и душой, и телом!»

«Нашли сегодня что-нибудь интересное?»

«В библиотеке? Нет, знаете, не нашел, сегодня очень жарко, и мысли путались, как после бессонной ночи. Скажите, а вы по ночам спите спокойно?»

«Как убитый, меня стережет собака, мне нечего бояться каждого стука и шороха, она всегда поможет, если случится что-нибудь непредвиденное. Вор, к примеру, залезет, или крыса случайно заскочит».

«Она не любит крыс?»

«Чрезвычайно!»

«Но почему?»

«Не знаю, это что-то врожденное, что-то, оставшееся от диких предков, от охоты в первобытном лесу на предков крыс, которые, возможно, были размером с нынешнего слона. Времени с тех пор прошло очень много, слоны превратилась в крыс, но запах остался, запах дикого зверя, который она, разумеется, не может терпеть!»

«Да, затейливое объяснение, вы всегда так затейливо объясняете?»

«Почти всегда, я не люблю прямолинейных решений».

«И в своих притчах вы тоже не любите их?»

«Что вы знаете про мои притчи?»

«О, я знаю про них очень много, и про вас тоже знаю достаточно, но хотелось бы узнать еще больше!»

«Охотно пойду вам навстречу, давайте завтра опять встретимся в библиотеке.»

«Как и сегодня, прямо с утра?»

«Как и сегодня, прямо с утра!»

«Охотно встречусь, а потом поговорим на интересные темы».

«Обязательно договорим, только, прошу вас, захватите с собой лезвие безопасной бритвы!»

«Лезвие безопасной бритвы?»

«Я научу вас вырезать из книг страницы и иллюстрации, это совсем не сложно, сядем рядом за один стол в самом конце читального зала, я буду делать то же самое, а вы у меня – учиться. Идет?»

«Конечно, идет! – обрадованно смеется Беспалый. – Собственно говоря, меня не надо учить вырезать страницы из книг, я делал это множество раз, но чтобы вы таким занимались, – это для меня забавно и неожиданно! Будем завтра вместе потрошить библиотечные фонды!»

«Да, вместе, как пианисты, играющие в четыре руки!»

«Да, как пианисты, как очень близкие друг другу пианисты!»

«Как сиамские близнецы!»

«Да, как очень близкие сиамские близнецы, сросшиеся между собой намертво всеми частями тела!»

«Да, грудью, боком, руками, ногами, печенкой, фаллосами, и всем остальным?»

«Вы считаете, что мы можем срастись печенкой, и даже фаллосами?»

«После завтрашнего потрошения книг? Помилуйте, да после такого занятия не будет в мире более близких людей, можете мне в этом поверить!»

«Вы чрезвычайно заинтриговали меня! До завтра, бегу искать безопасную бритву!»

«До завтра, бегите, и найдите самую острую!»

Он убегает, поминутно оглядываясь, и, как всегда, пряча за спиной беспалую руку. Интересно, надежно ли заглотнул он наживку?

Наутро я специально прихожу к библиотеке пораньше, и, привязав собаку под окнами, захожу в читальный зал, где меня уже встречают, как своего. В этих провинциальных городках люди очень быстро привязываются один к другому. В этом есть очень большая опасность – такие привязанности сразу же перерастают в нечто большее, и ты можешь запросто остаться здесь навсегда. Надо заканчивать и с библиотекой, и с милыми женщинами за стойкой, улыбающимися тебе так, будто ты их муж, местный водопроводчик или водолаз, забежавший на минутку в обеденный перерыв навестить свою беременную половину. И, разумеется, пора заканчивать с Беспалым. Или он меня, или я его, третьего не дано. Это война, и от нее явственно несет сладковатым душком только что родившихся крысят, совсем голых, и с длинными гладкими хвостами, которые очень скоро вырастут в отвратительных мерзких чудовищ, сопровождающих Беспалых всего мира в их вечном стремлении к кому-нибудь прижаться и высосать как можно больше мозга и крови. Кстати, мне его несколько не жалко.

«Вы знаете, – говорю я библиотекарше, – мой сосед, который сегодня опять будет здесь, вырезает, кажется, из книг страницы и иллюстрации!»

«Какой ужас! – Взмахивает она тотчас руками. – Не может быть, я доложу об этом директору библиотеки!»

Директору библиотеки, как хорошо сказано, лучше было бы только директору водокачки! К сожалению, директоров водокачек больше не существует, а жаль, хорошие притчи можно было бы о них написать! Впрочем, хватит мечтать, в читальном зале появился Беспалый. Держит себя с заговорщицким видом, подмигивает, и сразу же подсаживается ко мне. Хочет, очевидно, играть в четыре руки, и сразу же начать срастаться, как сиамские близнецы, печенкой и фаллосами. Бок у него липкий от пота, и в руке между пальцев уже зажато острое лезвие бритвы. Ну что же, голубчик, резать, так резать, играть, так играть, стрелять, так стрелять, ты сам во всем виноват! Изю всех углов читального зала на нас уже смотрят испуганные глаза директорши и всех библиотекарей, какие только нашлись здесь в наличии. У них, очевидно, давно уже ничего не вырезали и не воровали, как, впрочем, и не читали. Они, безусловно, благодарны за такое великолепное развлечение. Великолепное, и совершенно бесплатное, хотя, я думаю, многие из них охотно бы согласились заплатить за него. О ужас, о невыразимый ужас присутственных мест маленьких провинциальных городков: здесь все готовы платить наличными! Прочь, прочь отсюда, – туда, вовне, в свободу, прочь от всех этих разбитых зеркал, в которых не видно собственного лица, прочь от прошлого, которое так ужасно, что ты готов отказаться от него навеки, прочь от провинциального идиотизма и этих липких Беспалых, готовых срастись с тобой печенкой и фаллосами, после чего, разумеется, надо будет или повеситься, или утопиться в пруду!

Я делаю вид, что ничего не замечаю: ни того, как Беспалый, профессионально зажав бритву между двумя пальцами, кромсает какую-то древнюю книгу, ни того, как со всех сторон с истошными криками к нему бегут библиотекари и директорша, вопя не то «милиция», не то «караул»; ни того, как Беспалый неожиданно смертельно бледнеет, и лезвие бритвы с сухим щелчком падает из его пальцев на стол, а вокруг начинается обычная для таких случаев суета и комедия. Я встаю с напускным непониманием на лице, презрительно смотрю на Беспалого, и, положив книги на прилавок, медленно покидаю читальный зал. Здесь мне все уже скучно и неинтересно, и я знаю, что больше не вернусь сюда никогда.

Черная вдова (Оск.)

Соседка, бывшая циркачка, недавно похоронила мужа, смотрит на меня ласково и необычайно нежно. Волосы черные, и, очевидно, крашеные. Черная вдова, приглашающая в свои паучьи объятия. Говорят, что самки некоторых пауков после совокупления попросту откусывают головы у своих партнеров, готовя пропитание еще неродившимся паучатам.

Кривые пути (Изыск.)

Многие исследователи период в жизни Айзека Обломоффа между окончанием школы и переездом в Москву, когда писатель метался по стране, не зная, где ему остановиться, и к чему приложить свои силы, называют «кривыми путями» в его биографии, но я с этим решительно не согласен. Вовсе и не кривыми путями были эти тревожные годы, а поиском себя самого, поиском смысла жизни, когда на весах судьбы решалось, быть ли Айзеку писателем или кем-то другим (он, к примеру, вполне серьезно подумывал о карьере ученого, и даже спортсмена). Ленинград, Харьков, Одесса, и опять сонная, залитая солнцем провинциальная Аркадия – вот только некоторые города, упоминаемые в романах Айзека. Тревожные предрассветные сумерки Ленинграда, пронзительный и дребезжащий звук трамваев, набитых утренним рабочим людом, промозглая, напитанная миазмами большого города сырость, проникающая под одежду, и обволакивающая тело липкой холодной пленкой, – все это пронзительно и в малейших деталях описано в рассказе «Предрассветный трамвай». Маленькая комната в огромной коммунальной квартире, кухня и туалет в конце длинного коридора, смятая постель, и на ней сидящая тридцатилетняя жена с растрепанными волосами и ярко накрашенными губами на фоне смертельно бледного, словно бы вымазанного белилами лица, – об этом знаменитый и многострадальный рассказ Обломоффа «Первая любовь», так нелюбимый цензурой, и ставший впоследствии чуть ли не визитной карточкой повзрослевшего писателя. «Дворцы Петергофа» и «Старый фонтан» – это уже совсем другая тональность и совсем другое настроение: тихое, солнечное, радостное, которого так мало в рассказах, да и в романах великого писателя. И еще, пожалуй, можно вспомнить здесь рассказ «Аэропорт» – глубоко автобиографический, как и почти все вещи Обломоффа, в котором рассказывается о новогодней ночи в ленинградском аэропорту, в которой затерян девятнадцатилетний молодой человек, только что исключенный из университета, не имеющий ни крыши над головой, ни денег, ни даже теплой одежды, и тревожно ждущий наступление первого дня нового года среди праздничной и шумной суеты огромного стеклянного зала аэропорта. Все эти рассказы отражают подлинные события в жизни писателя, его недолгий, продолжавшийся чуть более года, ленинградский период, и затем очень странный переезд, вернее сказать – падение в Харьков: темный, рабочий, не имеющий ни культурной ауры, ни глубокого смысла великолепного столичного Ленинграда. «Харьковские рассказы», изданные позднее отдельной книжкой, а теперь переиздаваемые в разных местах огромными тиражами, полны безысходности и пессимизма, в них впервые звучит тревожный звоночек, эдакое малюсенькое стаккато о возможном самоубийстве, и они, все эти шесть или семь небольших вещей, есть буквальный слепок с жизни двадцатилетнего Айзека, запутавшегося, как муха в тенетах, в кривых проспектах и переулках огромного чужого города. Время жизни Айзека в Харькове такое же, как в Ленинграде – примерно полтора года, он здесь попеременно и учится и работает, и размышляет о смысле жизни, и, очевидно, уже раздумывает, не заняться ли ему литературой (во всяком случае, в его дневниках такая мысль появляется неоднократно). И опять стремительный кульбит, стремительный жизненный прыжок, и возвращение в Аркадию, в город детства, лежащий в Крыму на берегу Черного моря. Айзек уже полностью созрел для будущей писательской деятельности, он уже накопил множество сил и самых разных жизненных впечатлений, но ему не хватает еще чего-то, какой-то малости, какого-то нового жизненного слоя, странным образом ускользнувшего от него, и поэтому он решается идти в армию.

Армейская тема в творчестве Обломоффа вообще очень замечательна и занимательна. Она резко отличается от подобных парадных тем неглубоких современных писателей, боящихся, да и, откровенно скажем, не умеющих из-за недостатка таланта копнуть достаточно глубоко и коснуться самого дна. Обломофф, этот русский еврей, попавший служить, разуме-

ется, не в ракетные, и даже не в танковые войска, а в обыкновенный стройбат, описывает вовсе не жизнь советской казармы, и даже не сакраментальные сто дней до приказа. Об этих тошнотворных ста днях он презрительно и гневно высказывался впоследствии неоднократно, называя их или неглубоким романчиком, или даже гнусной клеветой робкого автора на подлинные реалии армейской жизни. Нет, Айзек Обломофф пишет не о лакированных буднях советских вояк и их бравых, а также не очень бравых начальниках, а о подлинной, невидимой никому жизни одесского военного госпиталя, в который попадает молодой еврей-стройбатовец, решивший закосить от советской армии. Это вам уже не примитивные сто дней до приказа, это страшная, чуть ли не шизофреническая реальность борьбы жаждущего знаний и свободы начинающего писателя с жестокой и бездушной машиной подавления личности и человеческого достоинства. В повести «Одесский дивертисмент» Айзек Обломофф дотошно и скрупулезно описывает свое собственное пребывание в отделении для душевнобольных, о лечении сильнейшими психотропными препаратами, о войне, которую вел он с профессором, поклявшимся, что рядовой Обломов или признает факт симуляции различных болезней (Айзек действительно, не желая служить в советской армии, по наивности решил симулировать несколько известных болезней), – профессор психиатрии, эдакий советский штурмбанфюрер-эсесовец, адский доктор Менгеле, грозил Айзеку вечными скитаниями по психбольницам, если только он не признает, что абсолютно здоров. Какая мощь, какое высокое человеческое начало, какой высокий дух горит в этом двадцатилетнем юноше, попавшем в паутину дипломированного и безжалостного, видящего его насквозь профессора психиатрии! Как же беззащитен он перед этой огромной армейской машиной, сминающей в своей мясорубке тела и души молодых советских людей! И как же это, подчеркнем еще раз, глубоко и литературно высоко перед всеми этими стами днями до приказа, написанными бесталанными приспособленцами от литературы! Всякому, кто читал и множество раз потом перечитывал «Одесский дивертисмент», известно, что герой Айзека Обломоффа победил в смертельной схватке с дипломированным профессором психиатрии, что его признали негодным и комиссовали из армии. Победил вопреки очевидному, пройдя через голодовки, насильственное лечение и питание, пройдя через издевательства и камеры пыток, – победил чудом, благодаря, очевидно, вмешательству своего еврейско-русского Бога, в которого тогда еще не верил, но о существовании которого всегда смутно догадывался. Но победит в схватке не на жизнь, а на смерть не только литературный герой Обломоффа, победит сам Айзек, ибо, не выдержав он смертельного накала борьбы, не переиграй позорно посрамленного советского профессора психиатрии, – не было бы его последующего переезда в Москву, где он наконец-то стал писать, ибо не мог уже сдерживать напор тех жизненных впечатлений, что распирала его изнутри. Да, как тонка и зыбка граница, отделяющая свободу от несвободы, творчество от жуткого мрака желтого дома, день от ночи, бытие от небытия! Победа Айзека над силами зла, одержанная в Одесском окружном госпитале имени Пирогова, была его личной победой, а также победой как русской, так и еврейской литературы, ибо Айзек принадлежал теперь и той, и другой.

Непрерывный поток литературного творчества, начавшийся через год после переезда Айзека в Москву, включает в себя и такие не очень известные его вещи, как повесть «Лето в Херсонесе» (здесь Айзек жил два летних месяца), небольшое произведение «Маленькая ленинградская повесть», и грустный рассказ «Аркадия» – в нем восемнадцатилетний молодой человек с маленьким и дешевым, покрытым дерматином чемоданчиком в руке идет в сопровождении матери к троллейбусной остановке, намереваясь уехать в далекий столичный город, а мать постоянно отвлекают по дороге случайные знакомые, и он глубоко переживает, что она в последний момент уделяет внимание не ему, а другим людям! Чего здесь больше: негодования на черствость и невнимание матери, собственной заброшенности и одиночества, боли расставания с городом детства, в который, очевидно, он уже никогда не вернется, – не знаем. Но здесь весь Обломофф с его потрясающим психологизмом и любовью к мельчайшим дета-

лям, которые впоследствии стали визитной карточкой чудного мастера. Здравствуй, Москва, здравствуй, свобода, здравствуй, жизнь! – так, очевидно, воскликнула душа Айзека, прошедшего положенные тысячи миль своих кривых и трудных путей, которые со временем стали широкими проспектами, приведшими его в большую литературу.

Кровь и снег (Изыск.)

Очень часто Обломоффа обвиняют в некоей болезненности всего его творчества, в некоторой чуть ли не еврейской неустойчивости психики его и большинства его героев, противопоставляя эту болезненность и эту неустойчивость официальному глянцу и бодрости официальной имперской литературы. Почти во всех его произведениях герои или пытаются симулировать какую-нибудь болезнь, или действительно смертельно больны, как, например, уже упоминавшаяся героиня романа «Кровь на снегу», смертельно заразившаяся туберкулезом и умершая от него посреди сибирских сугробов, или, как в «Харьковских рассказах», всерьез размышляющие о самоубийстве. Это, конечно, не гляцевая и победоносная улыбка абсолютно здоровой и абсолютно глупой (глупой на грани шизофрении) знаменитой Девушки С Веслом, и не победный лоск имперской казармы, вступившей в волнующий (тоже на грани шизофрении) период ста дней до приказа. Эта болезненность самого автора, незримым (а иногда и очень зримым) образом переданная его литературным героям, многими критиками презрительно называлась исконно еврейской болезненностью, чуждой здоровому и оптимистическому восприятию массового имперского читателя. По этой причине произведения Айзека долгие годы отвергались цензурой, а сам он подвергался гонениям и даже допросам в тайной полиции. По этой же причине ему пришлось вести жизнь типичного представителя литературного и культурного андеграунда, что еще больше обогатило внутренний жизненный запас автора такими встречами и такими сюжетами, о которых другие не могут даже мечтать. Поскольку жизнь самого Обломоффа и жизни его литературных героев постоянно переплетались, и уже невозможно было отделить одну от другой, то можно без всякой погрешности описывать или факты его биографии, или цитировать страницы его книг, – это будет одна и та же жизнь, с небольшими, возможно, литературными украшениями и приключениями. Впрочем, приключений и в жизни самого Айзека было немало. Перебравшись наконец-то в Москву, он некоторое время жил на четырнадцатом этаже некоего рабочего общежития, куда попал в надежде устроиться на завод и вести жизнь скромного рабочего парня, что у него, естественно, решительно не получилось. В повести «Четырнадцатый этаж» он с юмором описывает все перипетии своей неудачной рабочей карьеры, во время которой он усердно посещал московские театры, продолжая тем самым свою довольно удачную ленинградскую одиссею, гулял по снежной Москве (стоял декабрь) и впитывал в себя звуки и запахи огромного блестящего мегаполиса, одновременно странным образом получая в кассе якобы заработанные им деньги, и даже считаясь комсомольским активистом, которого посылали на молодежный съезд в Колонный зал Дома Союзов! Об этом колонном зале Дома Союзов, о котором он пишет с особенно большим юмором в своей повести «Четырнадцатый этаж», сказано уже достаточно много, здесь вообще все истоки его будущего юмора и сатиры, здесь он издевается и над существующими в стране нелепыми порядками, и над самим собой, искренне недоумевая, кто же из них двоих больший идиот: комсомольская организация, пославшая прогульщика и тунеядца на этот престижный и важный форум, или он сам, попавший в такую анекдотичную ситуацию? Разумеется, в эпоху господствующего в стране все удушающего социалистического реализма повесть о тунеядце, читающем с трибуны огромного, освещенного хрустальными люстрами зала приветствие к притихшим и ошарашенным окружавшим великолепием депутатам, приехавшим со всей страны, не могла быть пропущена цензурой. Гуляющий по колонному залу бездельник, фактически идейный враг, поглощающий за бесплатно в буфете пирожные и бутерброды и заигрывающий с юными, готовыми на все комсомолками, подлежал если и не расстрелу, то, по крайней мере, суду и вечной ссылке в Сибирь. Много позже, кстати, Айзек Обломофф обнаружит странную и даже мистическую закономерность: все его наиболее значительные приключения и события в Москве происходили именно на четырнадцатых этажах то ли рабочих общежитий, то ли про-

сто старых и новых многоэтажек, где он либо жил со своими женами и любовницами, либо скрывался от них, строча высоко над землей свои повести, романы и пьесы. Но это будет потом, неведомый читатель этих странных записок, если ты вообще будешь их читать, и если кто-нибудь, набравшись смелости, вздумает их опубликовать. Пока же наш молодой человек, еще не писатель, еще даже вообще никто, не рабочий, не студент, полуинтеллигент-полубродяга, выполнив свою почетную миссию на главном комсомольском форуме страны, за что был премирован именными часами и почетной грамотой, исправно получая в кассе вовсе не заработанные им деньги, вдоволь нагулявшись сначала по снежной, а потом и по покрытой первой майской листвой Москве, решил наконец закончить славную карьеру рабочего и поступить в какой-нибудь институт. Об этом славном времени, кстати, мы узнаем из его совсем маленькой повести «Свой круг», где главный герой, молодой человек, временно работающий на заводе, знакомится с юной девушкой, живущей в рабочей семье, и с ужасом понимает, что он, собственно, человек совсем другого круга, что, связав свою жизнь с ней, он предаст в себе самом что-то ценное. Обо всем этом мы узнаем из небольшой повести, где герой и его возлюбленная, прощаясь навсегда, сидят на скамейке в парке Горького и смотрят на голубей, которым Наташа (героиня повести) бросает небольшие хлебные мякиши, а они воркуют и дерутся между собой, взъерошивая свои белые хохолки. Айзек не раз потом признавался друзьям, что каждый раз, расставаясь с женщиной навсегда, он видел почему-то перед собой эти белые взъерошенные хохолки голубей московского парка Горького, клюющих с ладони его подружки сдобные хлебные крошки.

Впрочем, прочь сантименты, прочь сантименты, история наша только лишь начинается, и двадцатидвухлетний Айзек Обломов, вот-вот готовый превратиться в Айзека Обломоффа, поступает наконец в педагогический институт, который искренне надеется вырастить из своего вчерашнего абитуриента школьного учителя физики. Какая наивность, господа, какая наивность, если не сказать большее! Какая, господа, халатность, какое головоуятие, какое недомыслие, и даже преступность: делать из этого фактически антисоветчика, из этого отщепенца, восемь месяцев получавшего ни за что в рабочей кассе зарплату, числившегося при этом на хорошем счету, – делать из него учителя физики! Из этого скрытого классового врага, может быть даже агента какой-либо иностранной разведки, нагло читающего с трибуны комсомольского форума пламенное послание к молодежи великой страны, и в то же самое время тайно подсчитывающего количество лампочек в главной хрустальной люстре, слепящей прямо ему в глаза, чтобы, тайно пробравшись сюда ночью, вывинтить их все до одной! Из этого идейного врага, с утра до ночи шатающегося по театрам, вы хотите, господа московские профессора, сделать учителем физики? Но что, скажите мне, будет нести он в будущем детям? Какие добрые, разумные и вечные истины будет он им преподавать? Какую тайну – страшную, вечную и необъятную – этого мира раскроет он им на одном из уроков: так, чтобы дети ахнули и не спали потом ночами, нося в себе эту тайну всю последующую жизнь? Тайну о том, что переживания маленького еврейского мальчика могут так взволновать душу взрослого русского человека, что он навсегда забудет и о еврейских погромах, и вообще о ненависти к евреям, и признает их не просто равными себе, но – о ужас, о богохульство, о импоссибл на все времена, о кара на вашу голову! – задумается о существовании некоей вселенской русско-еврейской души, состоящей из двух нежно любящих друг друга половинок, которые там, на небесах, пребывают в вечном согласии и мире, а здесь, внизу, на земле, вечно антагонистичны друг другу, как два брата в семье, из которых один во избежании смертоубийства должен покинуть свой родной дом? Ах, господа московские профессора и доценты, как же вы пропустили этого отщепенца и недоноска, эту пятую колонну в стройных рядах московского студенчества, эту рогатую морскую мину, утыканную смертоносными и ядовитыми шипами, которая, вырвавшись через некоторое время из мрачных и темных глубин океана, погубила не одну чистую и наивную душу?! Ведь приняли вы в свой институт не кого-нибудь, а типичнейшего вечного студента, обладавшего

уже к тому времени философией вечного студента, привычками вечного студента и потребностями, вечными потребностями всех вечных студентов в мире, где бы они ни находились – в Геттингенте ли времен Германа и Ланского, или в Москве конца семидесятых годов прошлого века! Потребностью пить, гулять, портить девок, посещать театры, вольнодумствовать, создавать тайные революционные общества и писать пламенные статьи и памфлеты, от которых болит голова и дрожат руки у почтенных власть предержащих чиновников. У всех этих отцов нации, не могущих или внятно вымолвить и двух слов, или, напротив, настолько словоохотливых, что от их словоохотливости разваливаются потом целые мировые империи. А бывает, что и таких, которые смотрят на вас в упор, будто сквозь прорезь прицела, и сходу пугают то обрезанием, то замачиванием в сортире, то гибелью в той родной и милой вам пещере духа, в которой вы, превратившись из вечного студента в вечного сочинителя, пребываете слишком долгое время. Вот, вот кого вздумали принять в свой институт московские доценты и профессора! Впрочем, Бог им судья, а лично от нас большое спасибо!

О своей учебе в педагогическом институте Айзек всегда рассказывал с юмором. Привыкнув к жизни вечного студента, то есть к жизни лоботряса, бездельника и прогульщика, он и здесь не отходил от приобретенных за последние годы привычек, то есть ходил на занятия тогда, когда ему вздумается, прилежно шатался по Москве, посещал театры, играл до утра в преферанс и спал затем до полудня, приводя в недоумение соседей по общежитию; кроме того, он проторил тропку в некий малинник, находящийся в комнате по соседству, в котором жили четыре скромных девушки, одна естественно, краше другой. История хождения Айзека в этот малинник, закончившаяся его неожиданной женитьбой, подробно описана в повести «Свадебная одиссея» и в очень похожем на нее рассказе «Вечерний дракон». В комнату четырех прелестниц, изучающих, как и Айзек, физику, но старше его на пару курсов, хаживали, естественно, и другие студенты, а также гости со всей Москвы, так что ухо здесь требовалось держать остро. Четверо очаровательных прелестниц веселились с утра и до вечера, при этом умудряясь всегда оставаться чистенькими, свеженькими, беленькими, и, как ни странно, круглыми отличницами, что всегда приводило Айзека в недоумение. Сам он безнадежно запустил учебу, и подумывал всерьез перебраться в какой-нибудь другой институт, продолжив карьеру вечного скитающегося студента, но одна из четырех прелестниц, не то самая прекрасная из них, не то, наоборот, последняя замухрышка (Айзек не мог решить эту дилемму) – одна из четырех прелестниц рассудила иначе. Трудно сказать, что нашла эта разбитная русская девушка в разбитном еврейском юноше, и что нашел в ней он, но, скорее всего, как рассуждал герой повести «Свадебная одиссея», здесь все же виновата любовь. Как бы то ни было, но дело кончилось театрализованным (сказались, видимо, хождения жениха по театрам) объяснением в любви, с цветами, шампанским и падением на колени, а также скорой свадьбой во все том же студенческом общежитии, после чего молодые, как известно, сняли комнату на одной из тихих улиц Москвы. На самом же деле все было гораздо сложнее, и тот, кто читал рассказ «Вечерний дракон», знает, что в дело вмешалась третья сторона, а именно друг Айзека по имени Виктор Блох, бывший одновременно и другом невесты. Этот странный триумvirат просуществовал в течение нескольких лет, и устраивал, как ни странно, все три стороны.

Позже, когда уже ничего изменить было нельзя, Айзек с ужасом понял, что, собственно говоря, от Марты (так звали его невесту, а впоследствии и жену) ему нужно было лишь тело, а Виктор Блох был обителью разума и души, с ним Айзек вел необходимые ему беседы, подчас настолько утонченные и философские, что они казались ему милей и слаще жарких объятий Марты. Все трое были похожи на некую странную гидру, на некий искусственный, но великолепно функционирующий организм, на некоего трехголового дракона, каждая из голов которого имела свое имя: Айзек, Блох, Марта. Этот симбиоз устраивал и Марту, не желавшую бросать своего бывшего любовника, и находившую массу приятностей в общении с ними обоими, игнорирующую, разумеется, их высокую духовную дружбу и близость. Существование в

виде трех неразрывных голов устраивало и Блоха, одинокого и заброшенного еврея, во многом схожего с Айзеком, которому просто надо было прислониться к кому-то, чтобы элементарно не погибнуть и не сойти с ума в этом страшном и диком советском мире, где гибли и сходили с ума многие гораздо более сильные и пробивные. Когда через пару лет Виктор Блох все же сошел с ума и покончил с собой (Айзек с ужасом подумал тогда, что, поменяйся они местами, и не женись он на Марте, на месте Виктора Блоха должен был быть он сам), – когда через пару лет Блоха не стало, и трехголовый дракон перестал существовать, Айзек остался один на один с телом Марты, лишившись души и ума ушедшего друга, и вдруг пронзительно понял, что одного тела в объекте любви ему недостаточно. Всякий, кто читал рассказ «Вечерний дракон» (опубликованный лишь недавно), помнит, конечно, исповедь немолодого человека на набережной Москва-реки, обращенную то ли к небесам, то ли к холодной осенней воде, то ли к случайному слушателю, в которой звучит странная мысль о том, что по большому счету в любви должны присутствовать три стороны, что мужчине недостаточно одного лишь тела живущей с ним рядом женщины, что смысл высокой любви гораздо глубже и шире, чем это принято думать, если оба партнера устраивают друг друга не только в плане физическом, но и в плане духовном, и что идеальный брак и идеальная связь в мире людей в принципе невозможны, а возможны, очевидно, лишь в мире мифических существ, драконов, каждая из голов которых символизирует три вечных сущности: Плотское Влечение, Ум и Дух, без которых думающий и ищущий человек не сможет прожить. Незнакомец, рассуждающий на тему идеальной любви у каменного берега Москва-реки, едко высмеивающий любовь вечных Ромео и вечных Джульетт, а затем прыгающий в холодную осеннюю воду, есть, разумеется, слепок с самого Айзека Обломоффа, с его тогдашних настроений и дум. Три года, прожитые в странном, но сладостном триединстве, были для него самыми счастливыми годами в жизни, именно в этот период он наконец-то начинает писать, ощутив себя именно писателем, и создает свои первые, ранние рассказы и повести, о которых выше уже говорилось. Более того, в этот период он пишет несколько ранних, до сих пор неопубликованных романов, хранящихся ныне, очевидно, на каком-то заброшенном и неведомом критикам литературном чердаке писателя. Живя на разных квартирах (то вдвоем с Мартой, то втроем с ней и Виктором Блохом), Айзек обживает свои уголки так полюбившейся ему Москвы, которые потом в мельчайших деталях опишет в своих более поздних, зрелых повестях и романах. Три года высокого интеллектуального и плотского общения так укрепили Обломоффа в мысли, что мир высоких отношений, мир идеальный, мир возвышенный, мир Вечной Утопии естественен для человека и будет существовать всегда, что, когда этот мир внезапно разрушился, он воспринял это, как крушение Атлантиды. С сумасшествием, недолгим лечением в психушке и последовавшим затем самоубийством Виктора Блоха для Айзека, по существу, наступил конец света. Он остался один рядом с женой, у которой было восхитительное тело, но не было духа и высокого горения Виктора Блоха (что, разумеется, вполне естественно, ибо русская баба вовсе не экзальтированный еврейский мальчик, и создана Богом для совсем иных утех), – он остался в съемной московской квартире, заваленной до потолка рукописями и книгами, рядом с Мартой и детской кроватью, в которой, оказывалось, мирно спал их двухлетний малыш. Иллюзия кончилась, лето любви внезапно ушло, суровые будни внезапно предстали взору молодого писателя, и он вдруг понял, что, в сущности, не многое выиграл, оставшись в живых. Они все трое были, очевидно, сумасшедшими, кто в большей мере, кто в меньшей, и когда Марта вскоре попала в ту же лечебницу, где еще недавно лежал Блох, Айзек вдруг понял, что это расплата за тот идеальный период гармонии, неведения и счастья, в котором они какое-то время жили. Сумасшествие Марты, ее лечение, возвращение на волю, а потом возвращение назад в лечебницу, смерть ребенка, тоска, одиночество и полнейшее бессилие – все это сполна вылилось на голову Айзека Обломоффа, вполне сформировавшегося как писатель, и отразилось, разумеется, в его великих произведениях. Иные скажут, что без страданий и без невзгод писатель никогда не станет писателем, но я бы с удовольствием

посмотрел на тех мудрецов, которые произносят подобные речи! Итак, замри, просвещенный читатель этих записок, перед всей драмой и ужасом двадцатипятилетнего молодого писателя Айзека Обломоффа, которого мы видим на четырнадцатом этаже (четырнадцатый этаж, какая мистика!) одной из московских высоток, рядом с открытым окном, которое он загораживает расставленными в сторону руками, ибо туда только что пыталась выброситься Марта. Каково тебе это, просвещенный читатель этих странных записок? Заинтриговали они тебя? Хочется узнать, что будет дальше? Терпение, мой друг, терпение, ибо дальше будет еще хуже и еще занимательней!

Остановка (Оск.)

Мороз, градусов под сорок, наверное. Бездомная собака греется на оттаявшем люке, свернувшись калачиком. Дочь рядом, совсем стала москвичкой, одета модно, и, очевидно, слегка меня стесняется. Оно и понятно, – выгляжу, очевидно, как провинциал. С каждым разом, когда я покидаю Москву, мы с ней расходимся в разные стороны: Москва вперед, в невозможное и сияющее грядущее, а я назад, в тошнотворную и ублюдочную провинцию у моря, в тошнотворное и ублюдочное прошлое. Подъехал встречный автобус. Молодой человек, явный хлыщ, подходит к дочери, приветливо машет рукой, отводит в сторону. У них здесь свидание. Украдкой оглядываются на меня. Остерегаются целоваться, ждут, когда я уберусь подальше. Показываю рукой, что уезжаю на первом подошедшем автобусе. Они обрадовано машут мне вслед. Сейчас поцелуются и поедут куда-то? Куда? Какое тебе дело, куда? Собака на оттаявшем канализационном люке к утру, очевидно, умрет.

Арбат (Оск.)

Арбат, лето, июль, жара, как на юге. Такое ощущение, что ты здесь прожил целую жизнь. Есть улицы, которые невозможно забыть. Когда-то жил на улице Радужной, и посвятил ей целый роман. Арбат достоин сотни романов. У меня есть ранний рассказ, как на Арбате некий сумасшедший из провинции видит матрешку с лицом президента, которых здесь много на каждом углу, и решает совершить на нее покушение, воображая, что президент подлинный, а он не то террорист, не то посланец некоей организации. Народный мститель. Но на самом деле он сумасшедший. Может ли сумасшедший писать о сумасшедших? Наверное, может, он ведь владеет фактическим материалом. А что стало с тем террористом из твоего раннего рассказа? – Его арестовали, и, кажется, отправили не то в тюрьму, не то в психушку, точно не помню. Если помнить все, что написал за годы работы, каждую букву и запятую, каждый поворот сюжета и каждое имя, можно элементарно свихнуться. Может быть, среди писателей так много свихнувшихся по-настоящему, что они действительно не могут забыть ничего?

Звонок (Оск.)

Звонок. Это из издательства, мы прочитали ваш роман. Необыкновенно, просто необыкновенно чудесно. Даже гениально. Скажите, а почему мы о вас до сих пор не слышали? Как ваше отчество, нет, без отчества нельзя, автор такого романа обязательно должен иметь отчество. Итак, мы вас ждем, приходите немедленно, может, выслать за вами машину? Доберетесь самостоятельно, вы знаете наш адрес? Знаю, я вообще знаю Москву, как матрос знает девку в борделе! Ах, как вы неожиданно шутите, впрочем, и роман ваш достаточно неожиданный. Итак, до встречи. До встречи. Опять звонок, всего лишь через пятнадцать минут. Это опять мы, из издательства, глубоко сожалеем, но мы не успели прочитать рецензию на ваш роман. Чью рецензию? Очень уважаемого писателя. У вас там, оказывается, сплошной натурализм, прыщик на лбу у одного из героев, а у другого из носа, извините, течет. Это слишком правдиво, искусство не должно быть слишком правдивым, но вы, очевидно, до этого еще не доросли, как писатель. Можете прийти в любое время и забрать рукопись у секретаря, редактора просим не тревожить по пустякам, рецензию тоже можете с собой захватить. Я спущу ее в туалет, у меня как раз закончилась туалетная бумага. Вот вы снова излишне реалистичны, пишете без туалетов и сопливых носов, тогда, возможно, мы вас напечатаем. Без туалетов и сопливых носов жизнь бы, дорогуша, превратилась в сплошной отстой. Ха-ха, ваши шутки совсем не к месту!

Пуговицы (Оск.)

Пуговица на снегу, лежит бесхозная, оторванная вместе с живой плотью. Такие для меня особенно ценные. Одни собирают марки, другие самовары и колокольчики, или, допустим, фарфоровых кошек, а я собираю пуговицы. От пиджаков и дубленок, рубаш и платьев, пальто и костюмов, пуговицы от бальных туфель прошлого и даже позапрошлого века, пуговицы белые, цветные, глянцевые, перламутровые, сделанные из пластмассы, дерева, слоновой кости и редких морских раковин. Особенно ценны те, что лежат внизу, втоптаннные в грязный снег или землю, покинутые и всеми забытые, и оттого для меня особенно ценные. Я помню историю каждой пуговицы (их у меня несчетное множество), и могу потом дословно рассказать ее непростую историю, включая биографию и привычки. О пуговицы, вы, без сомнения, правите миром, ибо без вас не застегнулась бы ни ширинка на брюках премьер-министра и короля, ни лифчик на груди изящной принцессы, я уж не говорю про металлическую пуговицу на груди храброго солдата любой армии мира, принявшую на себя удар вражеской пули и спасшую юную, полную надежд и высоких стремлений жизнь. О пуговицы, вас, без сомнения, подарил людям вместе с огнем Прометей, и вы, вместе с хлебом, вином, парусом, порохом и колесом составляете золотой фонд застегнутого по всем правилам незабвенного человечества! Впрочем, о пуговицах я могу говорить часами, и остановить меня, леди и джентльмены, нельзя ничем. Разве что показав мне новую, редкую, и совсем уж необычную пуговицу, которой нет в моей необъятной коллекции.

Бега (Оск.)

Снег, улица Беговая, ипподром с шестеркой летящих над ним коней, подгоняемых безжалостным железным возницей. Кассы с программками, перед ними, как всегда, довольно большая очередь. Покупаю свою, открываю, и нахожу имена лошадей: Стрела, Молния, Маленькая Принцесса, Королева Огня, Веселый Роджер, Везунчик... Пока захожу внутрь, собираюсь сделать свою ставку, раздумываю, на какую лошадь поставить? Везунчик мне нравится больше других, тем более на сегодняшних субботних бегах мне обычно везет, буду ставить именно на него. Осчастливливаю своим решением девицу в окошке, и выхожу на трибуны, садясь у прохода с краю. Не люблю сидеть посередине, зажатый другими психами вроде меня, ведущими себя, как болельщики на футболе. Морозно, лошади бегут ровно, небо затянуто серой пленкой, в воздухе разлита жгучая взвесь из пузырьков снежного воздуха, конского навоза, математики и почему-то дамских духов, пахнет азартом, сигаретным дымом и лошадиным потом. Все это вместе похоже на запах романа, начало которого (а может быть, и конец) разворачивается на ипподроме. Любой еще неродившийся роман имеет свой запах, по этому запаху его и вычисляют писатели. Но, впрочем, что это за шум и галдеж? Финиш, господа, это финиш, который я предвидел сразу же, еще не раскрыв программу бегов и не дочитав ее до конца. Лошадь под названием Везунчик просто не может не победить, это ведь ясно, как прозрачное стеклышко. Нет никаких систем и никаких сложных правил, нет сговора жокеев и владельцев породистых кобыл и жеребцов, есть только литература и магия счастливых имен, которая и определяет грядущего победителя. Вначале, господа, было слово, и оно продолжает править миром, править в большом и малом, будь то строительство Вавилонской башни, казнь Марии-Антуанетты или сегодняшние субботние бега, в которых мне обычно везет. Везунчика, покрытого хлопьями пены, накрывают попоной и увенчивают лавровым венком, а я поднимаюсь с трибуны и иду в кассу получать свой выигрыш. Наконец-то у меня хоть что-то будет звенеть в кармане, и не придется выпрашивать у Марты деньги на пиво и бутерброды.

Новодевичий (Оск.)

Новодевичий по воскресеньям, обязательно с утра, я уже без этого не могу. Тянет на покаяние. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Стою всю службу, по крайней мере, пытаюсь, потом гуляю по монастырским дорожкам. Прихожане, монахи в черном, плиты могил, кирпичные башни, колокола в поднебесье. Снег на дорожках убран, а по бокам большие сугробы. Черный мрамор могил ничуть не хуже, чем белый мрамор надгробий.

Пушкин (Оск.)

Храм Большого Вознесения на Никитской, здесь Пушкин венчался с женой. Из-за которой потом все и случилось. По крайней мере, так говорят. Прохожу мимо, колеблюсь, не решаюсь зайти. Молящиеся внутри повернулись в мою сторону и умоляюще смотрят, как будто пытаются что-то сказать. Двери храма настежь открыты, священник у иконостаса тоже повернулся ко мне, молитвенно сложив на груди руки. Зайти или нет? Чего они хотят от меня? Борюсь с собой несколько бесконечно долгих мгновений, и все же поворачиваю за угол. Много дел, надо разнести по театрам новую пьесу, но почему они так на меня смотрели? Снег уже начал таять, с крыш свисают большие сосульки, и с них вниз падают капли. Какое-то странное и тревожное чувство, все никак не могу забыть молящихся в храме. Может быть, все же стоило зайти на пару минут? Внезапно какое-то движение наверху, и медленно, очень медленно огромная глыба льда обрывается с крыши старого здания и падает прямо рядом со мной, задев ноги и всего обдав облаком снежной пыли. Я стою, как вкопанный, не решаясь вдохнуть и сдвинуться с места. Еще бы два-три сантиметра, и эта глыба льда упала прямо на мою голову, ей не хватило всего лишь мгновения. Того самого, которое потратил я, колеблясь, не войти ли внутрь полутемного храма? Те, кто были внутри, знали заранее, что я должен погибнуть, и молили, очевидно, о моем чудесном спасении. Мгновение, вымоленное ими, спасло мне жизнь. Спасибо им, а заодно уж и Пушкину, мы с ним, как видно, гуляем в одних и тех же местах.

Мытищи (Оск.)

Не знаю почему, но вдруг мне вспомнились Мытищи зимой, в момент уже затоптанного, грязного, январского, а быть может даже и февральского снега. Я приехал сюда из Москвы, где мы с Мартой жили на четырнадцатом этаже высотки, расположенной рядом с Головинскими прудами. Впрочем, что вам говорит такое название: Головинские пруды? Итак, Мытищи зимой, я думал отсюда на электричке добраться до Сергиева Посада, куда так долго и так часто звало меня сердце, ибо город этот когда-то стал для меня прибежищем от житейских бурь и страстей, в которых погряз я, сам не зная, как и зачем. Было холодно и сыро, почему-то щемило сердце, и было какое-то странное предчувствие, запрещающее мне ехать в Загорск, пардон, в Сергиев Посад. На площади перед вокзалом в Мытищах стояли два или три обшарпанных автобуса, а сверху и над Мытищами, и над автобусами, и над рельсами железной дороги опустилось безнадежное февральское небо. Еще секунду, подумал я, и жизнь закончится, я сойду с ума от этой безнадежности и одиночества, от этого серого и безнадежного неба, придавившего землю своей свинцовой безмерной тяжестью. Странно, но я знал Мытищи совсем в иные времена, я гулял когда-то по их улицам, я сидел вон на той скамейке в глубине перрона, которая, разумеется, никуда не делась, и находится, как и раньше, на своем месте, благополучно дожив до сегодняшнего дня. Помнится, я читал на ней трактат об алхимии – прошу прощения у всех, кто меня сейчас слышит или читает, но это было именно так! – да, я читал какой-то глупейший средневековый трактат, краем уха и глаза, а также мозга, нервов и всего остального вспоминая, что бывал здесь и раньше, притом совсем в иных обстоятельствах. Этот город вставал у меня на пути множество раз, всегда почему-то оставляя впечатление безнадежности и бессилия. Как та дама перед самоваром, во время знаменитого чаепития в Мытищах, которая на самом деле накачана чаем до ушей и до глаз, и обьяелась пирогами так сильно, что они скоро полезут у нее из ушей и из носа, а то и разорвут ее на части, обделав самовар и все, что находится на столе. Впрочем, что мне до нее, и ей – до меня? Что мне Гекуба и я – Гекубе, у меня есть дела поважнее! Например, как выбраться сейчас из этих чертовых Мытищ и сохранить хотя бы каплю рассудка? Я обвожу взглядом площадь перед вокзалом и вижу вывеску кабака, в который сразу же и захожу. Спасительная бесцветная жидкость течет мне в горло, и я уже не боюсь ничего: ни женщины у самовара, объевшейся пирогами во время знаменитого чаепития, ни своих бывлых посещений Мытищ, ни этого свинцового февральского неба, придавившего все внизу так сильно, что только здесь, в углу грязного мытищинского кабака, можно спастись от его всевидящего страшного ока. В Москву, в Москву, вперед в Москву и от этого неба, и от перрона, и от этих чертовых Мытищ с их втоптанными в снег окурками и старыми скомканными билетами, которые везли людей в солнечные и счастливые дали, обернувшиеся этим полустанком на границе света и тьмы!

Пушкино (Оск.)

Помнится, я когда-то наезжал в Пушкино, и эти мои наезды все чаще и чаще оживляют в голове приятные воспоминания. Я жил тогда в поселке Балакирево – дыра дырой, из которого, говорят, вышел когда-то знаменитый шут Екатерины, носящий то же самое имя. Я, собственно, спасался тогда от разного рода бедствий, ища себе хотя бы временный приют, и был рад той временной остановке, той помощи, которую предоставило мне Балакирево. Не знаю, чем я в те дни отличался от знаменитого шута, – возможно, ничем, но в данный момент речь идет о Пушкино, и именно о нем хочу я сейчас рассказать. Собственно говоря, мне в тот момент остро были необходимы деньги, и я ездил в Пушкино в букинистический магазин, чтобы сдать в него свои книги, которые всегда таскал за собой целые связки, как некогда до меня Хлебников таскал за собой по России полную наволочку, набитую собственными стихами. Пушкинский книжный магазин кормил меня маленькими подачками, полученными за мои бесценные книги: все эти тома БВЛ, все эти Байроны, Блоки, Чеховы, Бунины и прочая великая дребедень, все эти трактаты по химии, алхимии и теории музыки, ибо в те благословенные прошлые времена я был так высок и подкован, что, очевидно, небесные ангелы умилялись со своих небесных высот, взирая на мой высокий лоб и на мою еще не согбенную от постоянных забот и несчастий спину. Я гулял по улицам Пушкино, как до этого гулял по улицам Москвы, Ленинграда, Аркадии и прочих больших и маленьких городов, и благословлял Господа, которого, впрочем, я тогда еще не знал, как знаю сейчас, за те мгновения пронзительного и бесконечного проникновения в сущность бытия, которое иногда кажется вечностью, и которое не менее значимо, чем настоящая вечность, таящаяся где-то там, наверху, за гранью нашего понимания, в глубине этой пронзительной синевы, нависшей над землей, как прощение и наказание за грехи. О Пушкино, о вольность моя, о моя незабвенная молодость! Живи дальше, и питай своими подачками, своими жалкими и позорными грошами таких же безумцев, несущих тебе свои родные, как только что родившееся дитя, книги!

Трудные времена (Изыск.)

Трудные времена в жизни Айзека Обломоффа, все его кризисы и периоды глухого отчаяния всегда заканчивались созданием шедевров, заставлявших плакать, смеяться, а то и ужасаться читателей. Оставшись один на один с женой, которую все еще воспринимал как часть бывшего триединства, – которого, увы, уже не было! – он, казалось бы, впервые посмотрел на нее по-настоящему, и ужаснулся тому, что увидел. Он все еще был во власти их жизни втроем, когда общее было все: любовь, секс, милые беседы, деньги, философские диспуты, занятия литературой. Он все еще витал в облаках, все никак не мог спуститься на землю, не мог посмотреть в лицо правде, которая оказалась малознакомой и даже пугающей. В романе «Розовые иллюзии», написанном через несколько лет от первого лица, он не боится раскрывать самые сокровенные стороны своей жизни с Мартой, иногда сообщая такие подробности, о которых обычно не принято говорить. Так, например, он признается, что впервые должен был спать с Мартой, как муж с женой, и, словно в первую брачную ночь, несмело коснувшись рукой ее лона, был поражен тем жаром, похожим, как выражается он, на адский огонь, которым пылало ее заветное место. Марта словно бы горела изнутри, до нее нельзя было дотронуться, нельзя было слиться с ней в интимном любовном порыве, нельзя было совокупиться так, как делают это все остальные, нормальные люди. Марта оказалась больна, эта душевная болезнь сжигала ее изнутри, и Айзеку, ее мужу, просто хотелось кричать от ужаса при этой их вынужденной близости, которая не могла кончиться ничем. Душевная болезнь Марты, то ли врожденная, то ли приобретенная, осложненная, несомненно, гибелью ребенка, то прогрессировала, то временно затухала, и это еще больше сводило с ума Айзека. Он несомненно любил ее, а во времена, когда болезнь отступала, даже боготворил, считал своей высокой Музой, а потом, когда черная пелена болезни заливала все вокруг своим страшным ядом, проклинал, и пытался покинуть ее. Собственно говоря, вся их совместная жизнь в дальнейшем состояла из лечения в психиатрических клиниках, где отрешенная от всего и накачанная лекарствами Марта, худая, с выпавшими ресницами и бровями, вязала чепчики и распашонки для несуществующего в природе ребенка, – вся их жизнь теперь делилась на больницы и периоды недолгого облегчения, во время которых он вновь испытывал подъем и, бывало, успевал написать роман, приносивший ему какие-то деньги. Очень часто он бежал от нее, и снимал или жилье в Москве, а то и просто уезжал в какой-нибудь небольшой провинциальный русский город, и с головой уходил в литературную работу, одновременно подрабатывая в какой-нибудь местной газете. У них продолжали рождаться дети, которые почти все погибали, а те, что оставались живы, воспитывались у сердобольных родственников, которые, к счастью, были у них обоих. Так, помимо нашумевшего романа «Розовые иллюзии», почти полностью посвященного их интимным отношениям, отношениям вроде бы нормального мужчины и очень больной женщины (странно, но Марта спокойно восприняла публикацию этой вещи, и почти не упрекала за нее Айзека) – помимо скандального романа «Розовые иллюзии» Обломофф в этот период создал роман «Нищий и Муза». Он никак не может избавиться от Марты, она по-прежнему остается его единственной Музой, вдохновляющей творца на создание безумных шедевров, но в этом романе он, кажется, превзошел даже себя, ибо самоуничижается перед Мартой до последней возможности, утверждая, что только лишь больная шизофренией женщина могла спасти такого нищего духом, такого падшего и немощного человека, как он. Что только лишь союз немощного еврейского мальчика, не имеющего никаких перспектив в этой жизни, и больной русской девушки, странным образом ставшей его Музой, сделал из него писателя, и, по существу, возродил к жизни. Это болезненное обожествление Марты, эта странная, прошедшая через всю жизнь, то ли реальная, то ли платоническая любовь к ней, дорого ему обошлась! Нет ни одного значительного произведения Айзека, в котором так, или иначе, не присутствовала бы Марта.

Она и в «Розовых иллюзиях», и в «Нищем и Музе», и в совершенно потрясающем романе Обломоффа «Звезды на небе», написанном от имени идиота, сидящего взаперти в глухой провинции, совершенно потерянном и лишившимся всяческих связей с жизнью, который воображает, что эта-то жизнь и является настоящей, ибо рядом с ним находится опять-таки она, Марта, последнее, что связывает его с реальным, навсегда покинутым миром. Разумеется, у этой женщины, тоже, кстати, душевно больной, в романе совсем другое имя, но вечная Муза Обломоффа легко узнается и тут, поскольку другой Музы у него попросту не было!

Эта заостренность писателя на болезненных, иногда малоприятных моментах в жизни героя принесла ему, с одной стороны, скандальную славу, а с другой – породила целую плеяду недоброжелателей, особенно среди критиков, и создала репутацию не то последнего мизантропа, не то откровенного психа. Разумеется, в советский период большинство так называемых «больных» и «черных» романов автора не могли быть напечатаны, и ходили ограниченными рукописями по рукам, и только лишь с перестройкой, когда можно было печатать все, или, по крайней мере, почти все, стали наконец-то доходить до читателя. Этот период хождения по рукам, или, как называл его сам Обломофф, «хождения по мукам», продолжался примерно восемь лет и был, несмотря на личные обстоятельства, одним из самых плодотворных в жизни писателя. То сходясь, то вновь расставаясь с женой, скитаясь по квартирам, дачам и разного рода углам, живя часто в глухой русской провинции, Обломофф создает цикл своих так называемых ранних романов, насквозь пронизанных шизофреническим ядом, тоской, шокирующими эротическими подробностями и такими пронзительными лучами надежды, неожиданно сверкающими в этом беспросветном шизофреническом царстве, что читателям его книг неизменно хочется плакать. Действие происходит то в постели, где молодому человеку хочется кричать от ужаса при виде безумия в глазах своей возлюбленной, то в сумасшедшем доме, среди стонов, хрипов и страшных конвульсий, то в замкнутом помещении, где сошедший с ума молодой человек все еще считает, что он нормальный, и пытается любить такую же сумасшедшую девушку. Без сомнения, сумасшествие Марты сделало сумасшедшим и самого Айзека, но в некотором смысле и помогло ему выздороветь, что, в свою очередь, помогло держаться на плаву и ей самой! Впрочем, какая нам разница, болен психически или совершенно нормален писатель, для нас главное – это конечный результат его жизни и трудов, те литературные произведения, которые в итоге выходят из-под его пера! Заканчивает восьмилетний период «больных» тем в произведениях Айзека скандальная пьеса «Бордель», в которой из глухой приморской провинции в Москву приезжает молодой человек, несколько лет лечившийся там в специальной пансионате от шизофрении. Молодой человек этот, обладавший несомненными литературными способностями, пишет от нечего делать пьесу «Бордель», действие которой происходит в маленьком приморском городе, власти которого решились открыть у себя обычный публичный дом. Пьеса молодого автора так понравилась изнывающим от скуки провинциалам, что они изъявили горячее желание поставить ее на сцене местного захудалого театра, в котором до этого шли дешевые водевили. Жена местного градоначальника играла роль мадам, сидящей за кассой в борделе, а остальные жены, сестры, дочери и любовницы – роли проституток, причем роли эти удавались им особенно хорошо. Разумеется, в комедии были задействованы и мужчины, все сплошь местные чиновники, играющие роли посетителей городского борделя. Окрыленный успехом, молодой человек, уже посылавший рукопись пьесы в Москву и даже получивший от кое-каких критиков ценные о ней замечания, сам едет в столицу, к своему дяде, работающем министром в правительстве. Дядя вдов, но у него есть восемнадцатилетняя дочь Мария, когда-то в детстве страстно влюбленная в Юрия (имя главного героя комедии). И вот тут-то и закручивается настоящее действие! В доме дяди-министра по случаю какого-то праздника организован прием, и на него приглашены все члены правительства, а также множество уважаемых и известных людей. Попробовав объясниться с Марией, которую, как ему кажется, он до сих пор любит, и получив отказ (Мария стала современной девушкой, расчетли-

вой и тщеславной, и искренне теперь презирает Юрия за его, как ей кажется, сумасшествие), – разочарованный разрывом с Марией, Юрий пытается разговаривать с чиновниками, приглашенными на прием, но речи его кажутся всем чистым безумием. Тот нравственный бордель, который видел он в провинции, и который так ядовито и саркастично описал в своей пьесе, видит он и в столице. Он судорожно мечется по комнатам роскошного дядиного особняка, пытается разговаривать то с одним, то с другим приглашенным, но видит лишь зал борделя, и продажных, увешанных бриллиантами шлюх, а также их клиентов, откровенно покупающих за деньги все, что им приглянулось. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Юрия, является признание Марии, сообщающей ему, что она выходит замуж за богатого сахарозаводчика, годящегося ей в отцы, и что главное для нее в жизни – это деньги. Все плывет перед глазами провинциального драматурга, он, кажется, по-настоящему сходит с ума (так, во всяком случае, кажется окружающим), и в порыве безнадежности и отчаяния начинает выкрикивать в сытые и похотливые лица гостей одно и то же слово: «Бордель!», «Бордель!», «Бордель!..» Гости смеются, а незадачливого драматурга, видящего вокруг одни лишь персонажи своей комедии, за руки выводят на улицу, где его уже ждет скорая психиатрическая помощь. Через несколько дней, после вмешательства дяди, его отпускают домой, и он уезжает назад, в свою провинцию у моря, к своим рукописям, своим комедиям, и своим провинциальным героям, ничем не отличающимся от героев московских. Тридцатичетырехлетний Обломофф долго не решался предложить эту пьесу театрам, и она была поставлена лишь спустя несколько лет.

Революция (Изык.)

Хорошо известно высказывание Обломоффа о том, что в России революция не может быть чисто русской, что она здесь всегда наполовину еврейская. Это его высказывание принесло автору множество неприятностей, его постоянно пытались оскорбить, и каждый раз по этому случаю развязывалась ожесточенная дискуссия. Пресса к этому времени в стране стала свободной, и на страницах газет то тут, то там развязывались ожесточенные баталии, которые уже не могли обойтись без Обломоффа. Как-то незаметно, сам того не желая, он стал чуть ли не главным экспертом и даже идеологом будущей русской революции, его опасались власти, любили сторонники и люто ненавидели противники. Писательский авторитет Обломоффа, автора множества романов, которые он создал всего за десять лет каторжного труда, был к тому времени неоспорим, и к нему прибавился авторитет идейного вождя будущей русской революции. Сам Обломофф такому авторитету, как нам доподлинно известно, был вовсе не рад, он, кстати, не раз советовался по этому поводу со своим давним знакомым Иосифом Айзенштадтом, которого вместе с Люсей Антоновой сделал главным героем романа «Кровь на снегу».

– В России невозможно быть писателем, и не быть революционером, – говорил постаревший и потерявший на каторге зубы и один глаз Иосиф Айзенштадт пришедшему к нему в гости Обломоффу. – Поэт (читай – писатель) в России больше, чем поэт. Здесь от поэта и от писателя ждут каких-то программных высказываний, тем более от такого известного автора, как ты. Это ведь, Айзек, особая страна, страна бескрайних черных полей с тремя одинокими сестрами-березками, вцепившимися друг в дружку, как три горькие и покинутые сиротки, и бескрайних снегов, укрывших своим белым безмолвием привыкший повиноваться народ. Здесь бунты и революции, Айзек, совершаются от отчаяния, и от этой черно-белой безнадежности, здесь они неизбежны, как приход нового дня, как безнадежный закат, и такой же безнадежный рассвет. Это страна всего лишь двух цветов: черного и белого, такой она была прошлую тысячу лет, и такой же будет следующую тысячу, какие бы блистательные перемены ни сулили нам в будущем!

– Страна всего лишь двух цветов? – Спросил у Айзенштадта пораженный Айзек. – Но почему так получилось?

– Потому, мой милый писатель, – ответил ему, прихлебывая из рюмки коньяк, одноглазый революционер, – что это особая, ни на что не похожая страна. Это не ухоженные, подстриженные и покрытые свежей краской Франция и Германия, где интеллигент, если они там вообще существуют, может годами решать запутанные философские вопросы и задумываться над смыслом бытия. Это там, дорогой мой, можно искать философский камень, идя по стопам Фауста, создавать в ретортах гомункулуса Франкенштейна и эликсир молодости и извлекать заодно уж из ртути банальнее золото. Там можно потратить на это всю жизнь, так ничего и не создав, и считаться приличным и уважаемым человеком, работая по совместительству профессором в Сорбонне, или, на худой конец, в Геттингене.

– А здесь?

– А здесь надо действовать быстро, здесь нет времени ждать, тоска и безнадежность, извека впитавшиеся в эту землю, требуют незамедлительных решений. Здесь надо быстро задавать вопросы и так же быстро на них отвечать.

– И что же это за вопросы?

– Их всего два: «Кто виноват?» и «Что делать?». Всего лишь два классических русских вопроса, столетиями уже будораживших русское общество. И тот, кто умеет на них правильно отвечать, становится в итоге вождем и хозяином положения. Он становится вождем, приобретшим огромную власть, его словам внимают миллионы людей, готовых по первому мановению

нию его мизинца идти в бой за правое дело, а потом, когда это дело не выгорело, с такой же отчаянной фанатичностью ложить на плаху свою буйную голову!

– Неужели это такая безнадежная страна? – Спросил у Айзенштадта Айзек.

– Она не просто безнадежная, – ответил ему, наливая в опустевшие рюмки коньяк, хозяин квартиры, – она безнадежна до невозможности. В сущности, в мире есть всего лишь две абсолютно безнадежные нации: евреи и русские, и именно поэтому в критической ситуации вождем и кумиром в России часто оказывается еврей, а в Израиле, половину населения которого, как известно, составляют выходцы из России, – русский. И именно поэтому, – потому, что метафизически боготворят их, – в России ненавидят евреев. И именно поэтому, – потому, что слишком сильна метафизическая связь между двумя народами, – в Израиле с недоверием относятся к русским. Об этих зеркальных отражениях можно говорить бесконечно, но речь сейчас, как сам понимаешь, совсем о другом!

– Да, – ответил Обломофф, – мы с тобой сейчас говорим о России. Но, Боже мой, до чего же я, оказывается, не знал этой страны!

– Ты не знал этой страны потому, – ответил ему, тонко улыбаясь блестящими безукоризненной белизной вставными зубами Иосиф, – ты не знал и не понимал России потому, что все эти годы заикливался на собственных проблемах и переживаниях. Если не считать романа «Кровь на снегу», за который, кстати, тебе большое спасибо, то вся твоя литература погружена в твои непростые, а порой и страшные взаимоотношения с Мартой. Она вся окрашена ее черной шизофренией и твоими ответными, не менее черными реакциями на ее болезнь. Я думаю, ты и сам в немалой степени стал шизофреником, живя в этой психически нездоровой атмосфере и постоянно мусоля ее в своих романах и повестях.

– Ты так думаешь? – задумчиво спросил у него Айзек, глядя в окно через наполненный золотистым коньяком бокал.

– Не уходи от ответа, – парировал ему Иосиф. – Ты должен признать, что твоя литература насквозь нездорова и пронизана миазмами лихорадки и малярии, как будто ты создаешь ее где-нибудь в Африке, на краю зловонных и топких болот.

– В России не меньше зловонных и топких болот, – со знанием дела ответил Айзек, – и не только в прямом смысле этого слова. Россия – это страна не только снегов, но и зловонных топких болот, которые очень часто живут в душах людей!

– Они живут прежде всего в твоей психически нездоровой душе! – закричал на него порядком охмелевший Айзенштадт. – Кончай бесконечно копаться в своих непростых отношениях с Мартой, кончай непрерывно, из романа в роман, описывать симптомы ее шизофрении, все эти ее истерики, вскрытые вены на руках и ногах (кстати, я и на твоих руках вижу подобные шрамы, и не пытайся, прошу тебя, спрятать их за спину!), – кончай ты с этой шизофренией жены, пожалей ее, дай спокойно или умереть, вскрыв наконец-то не спеша свои вены, или тихо и мирно закончить свои дни в лечебнице где-нибудь в отдаленном и зеленом уголке Подмосковья. Кстати, где она сейчас, и чем, если не секрет, занимается?

– Где она сейчас? Как раз там, куда ты ее и советовал поместить: в тихом и зеленом уголке Подмосковья, в прелестной психиатрической больнице, залечивает под присмотром врачей порезанные накануне вены, гуляя по желтым дорожкам, а потом сочиняя мне душераздирающе любовные письма. Кстати, я хочу из этих писем составить очередной, шизофренический, как ты их называешь, роман.

– Не делай этого! – Закричал на него Иосиф и со всего размаху грохнул об пол своей рюмкой, так что в стороны полетели тысячи мелких осколков. – Не делай этого, не закапывай в землю свой талант, не заикливайся на этой черной шизофрении и на этом черном болоте психологизма! Ты разве не знаешь, что после каждого твоего нового романа среди читателей резко возрастает количество самоубийств?

– Да, мне говорили об этом, – равнодушно ответил Айзек.

– Тебе об этом говорили! – Опять закричал Иосиф. – Ему, видите ли, говорили об этом! Ты черный писатель, Айзек, не губи себя и читателей, пиши о другом, пиши о России, и тебя объявят национальным гением наравне с Пушкиным и Толстым!

– Ты еще забыл Солженицына!

– Да, и наравне с Солженицыным, вот еще один прекрасный пример, когда еврей становится кумиром России!

– Ты это серьезно? – Устало посмотрел на сорокапятилетнего Айзенштадта, которому из-за сибирских лагерей можно было дать все восемьдесят, Айзек. – Ты серьезно сейчас говоришь?

– Серьезнее не бывает, – поправил вставную челюсть Иосиф. – Я в каком-то смысле являюсь твоим духовным учителем, это я, сам того не желая, вдохновил тебя на создание романа «Кровь на снегу», и я же хочу продолжить это благородное дело, снова вдохновив тебя, но уже на другое.

– Ну что же, вдохновляй, – улыбнулся ему Айзек, – вдохновляй, старый дружище, я и сам, если честно, устал от всей этой шизофренической муры, и боюсь закончить свой путь там же, где и Марта, гуляя вместе с ней по желтым дорожкам психушки!

– И все же не забывай, что она все эти годы была твоей Музой, пусть и черной, пусть и страшной, но все-таки Музой. Ведь это ей ты посвятил роман с тем же названием?!

– «Нищий и Муза»? Да, этот роман посвящен именно ей. И я благодарен Марте за то, что именно она, сама того не желая, вывела меня в большую литературу.

– Вот и хорошо, что благодарен, а теперь пиши о чем-то другом. Пиши о России и о революции, пиши о русских евреях, которые в иных случаях являются большими патриотами этой страны, чем большинство русских, пиши о парадоксальных и метафизических вещах, о которых мало кто задумывается, но которые и являются подлинной правдой, движущей судьбами этой страны!

– Писать о еврейских патриотах России? – рассмеялся в ответ на этот призыв Айзек. – Ты что, хочешь, чтобы меня объявили агентом мирового сионизма и устроили в моей квартире еврейский погром?

– А она есть у тебя, эта самая квартира? – Грустно улыбнулся ему в ответ Айзенштадт.

– Нет, у меня нет постоянной квартиры и постоянного жилья. С тех пор, как в студенческие годы мы с Мартой начали снимать комнаты и углы, мы так и кочуем с ней по разным местам: то по психушкам, то по съемным углам и квартирам.

– Вот видишь, – все так же устало сказал Айзенштадт, – у тебя ничего нет, тебе негде надолго прислонить голову, и тебе нечего бояться. Не бойся поэтому ни погромов, ни собственной гибели, и пиши о собственном странном пути, но только не в плане своих отношений с Мартой, а в плане своих отношений с Россией. Сделай ее своей новой женой, стань ей новым еврейским мужем, как ты некогда стал еврейским мужем простой и шизофреничной русской женщины Марты.

– Писать о России, как о собственной жене?

– А почему бы и нет?

– Но это же еще большая шизофрения, чем все мои предыдущие романы!

– Нисколько! Пиши о России, как о женщине, ведь она, в сущности, и есть женщина, не менее шизофреническая и прекрасная, чем твоя прекрасная Марта! Скажи, твоя Марта прекрасна?

– После каждого нового приступа болезни, и даже после попыток самоубийства она хорошеет все больше и больше, и я не могу бросить ее, влюбляясь каждый раз, как некогда в молодости! Сейчас ей тридцать, но она намного прекрасней, чем была в свои восемнадцать!

– Вот видишь, и России сейчас ровно тридцать, и она точно так же, как Марта, шизофренична и прекрасна одновременно! Напиши метафизический и безумный роман о России,

вскрой ей вены, помести в психушку, объяви безнадежно больной, влюбись в нее по уши, и заставь точно так же влюбиться в нее читателей, – и тебя после этого начнут носить на руках. Здесь, мой милый, любят метафизику и парадоксы не в меньшей степени, чем на твоей исторической родине!

– Ты это серьезно?

– Очень серьезно. Считаю, что это заказ тебе со стороны мирового еврейства, считающего русскую душу второй половиной своей собственной души, и страстно стремящегося с этой потерянной половиной соединиться.

– Хорошо, я подумаю над твоими словами, – ответил ему немного ошарашенный Обломов. – Ничего заранее не обещаю, но подумаю над ними непременно.

– Подумай-подумай, – ворчливо сказал, вставая, Иосиф, протягивая на прощание руку Айзеку. – Извини, мне надо отдохнуть, наш разговор взволновал и утомил меня, я уже давно, со времен отсидки в Сибири, не разговаривал ни с кем так откровенно и так страстно. Не знаю, как это скажется на моем слабом здоровье. Во всяком случае, все необходимые инструкции ты получил, и считай, что получил на полном серьезе. Прощай, и передавай, прошу тебя, большущий привет Марте!

– Обязательно передам! – растроганно сказал ему в ответ Айзек, пожимая протянутую сухую, похожую на птичью лапку, руку сорокапятилетнего еврея, которого любовь к России сделала законченным стариком. – Марта всегда вспоминает о тебе с особенной теплотой!

Они расстались, как оказалось уже в ближайшее время, навсегда. Иосиф Айзенштадт, вечный русский каторжник, профессиональный революционер, еврей, возлюбивший Россию больше всего на свете, тихо умер в своей постели, не выдержав тяжести этой вечной любви. Айзек похоронил его вместе с немногими оставшимися в живых товарищами покойного.

Три Парки (Оск.)

Одно из воспоминаний детства, приходящее ко мне в последнее время все чаще: это три обнаженные женщины у реки, на которых я, испуганный десятилетний мальчик, гляжу сквозь зеленые ветви деревьев, густо растущих вдоль тихой воды. Я не помню уже точно, что делают у реки эти женщины, очевидно, моются, я помню только застывшие около воды белые обнаженные тела, похожие на тела белых мраморных статуй. Волосы у женщин распущены, они змеятся по плечам, закрывают часть спины и груди, и это все, чем прикрыты три беломраморных богини. Мгновение словно бы остановилось, времени нет, все три женщины застыли каждая в своей собственной позе. Одна нагнулась и ладонью зачерпывает из реки воду, вторая смотрит вбок, на свое обнаженное плечо, третья вытянула вперед ногу, и, очевидно, трет ее покрытой пеною губкой. На воде пляшут солнечные блики, и, отражаясь, падают на женщин, на листву деревьев, и мне в лицо, отчего я зажмуриваюсь, и вижу обнаженные тела женщин сквозь частокол своих забрызганных слезами ресниц. Не знаю, что больше в этих слезах: испуга, радости, удивления, недоверия, счастья, озноба? Наверное, всего понемногу. Еще чуть-чуть, и я умру от нереальности происходящего. Три парки. Три богини. Три лика судьбы.

Пруды (Оск.)

Белые лилии на воде, в окружении кувшинок, по бокам камыши, поверхность прудов темная, с двумя или тремя кочками посередине, на них сидят утки, и время от времени покачиваются из стороны в сторону. Рядом полуразрушенная беседка, старые, скрепленные белой известкой кирпичи, крутой спуск к воде, и дальше опять пруды, соединенные между собой легким ажурным мостиком. В стороне несколько огромных трехсотлетних дубов, один из них повален, очевидно, бурей, и на нем буйно разрослись бесформенные, напоминающие фантастических гномов, грибы. Еще дальше целая вереница таких же старых прудов, соединенных между собой каналами и мостами. Пейзаж, как на картине Леонардо «Джоконда», и все это чуть ли не в центре Москвы. Вечный пейзаж Леонардо, подходящий и для Венеции, и для Москвы, застывший в ожидании очередного миллениума.

Иванов День (Оск.)

Вечер, от прудов веет свежестью, на старых, от прежних усадеб оставшихся яблонях сидят мальчишки, набивая карманы спелыми яблоками. Вокруг сотни костров, рядом с ними полуодетые люди, жгут соломенные чучела и прыгают через огонь, поднимая кверху снопы искр. Какая-то совершенно голая женщина, случайно коснувшись меня рукой, близоруко щурясь, идет к воде, раздвигая зеленую траву узкими, похожим на лодочки, лодыжками. Кто-то в свете костра пьет из горлышка, блестя белками совершенно безумных глаз. Отовсюду раздаются крики, смех, звучит громкая музыка. Не могу понять, что происходит, и наконец слышу слова: «Иванов День! Иванов День!» Вечер на Ивана Купала, такого подарка я, признаться, не ожидал, тем более на своих родных Головинских прудах недалеко от Водного Стадиона. Язычество в крови у русского человека, сколько бы его ни цивилизовали века христианства. Язычество в крови и у меня. Веселая компания у соседнего костра приветливо машет руками, приглашая присоединиться к ним. Прости меня, Господи, за эти языческие вечер и ночь, и не суди поутру слишком строго!

Четырнадцатый этаж (Оск.)

Четырнадцатый этаж старой московской высотки, затерянной на дальней московской окраине. Внизу нереальный пейзаж с картины Леонардо Да Винчи: вереница бесконечных, заросших камышами прудов, соединенных каналами, с перекинутыми через них ажурными мостиками, недалеко справа игла Останкинской телебашни. По ночам от нее исходит свечение, разливающееся в небесах наподобие северного сияния. Северное сияние в Москве, к которому все или привыкли, или просто не обращают внимания, поскольку своих дел достаточно много, или вообще не видят, а вижу один лишь я. В глубине комнаты на диване расположилась Марта. Решает кроссворды, сосредоточенно морщит лоб, зачеркивает крест-накрест какие-то клеточки. Если не читает книги, то решает кроссворды. Это для того, чтобы не сойти с ума или не броситься вниз с четырнадцатого этажа. Мы вдвоем в небольшой квартире, как заключенные, годами сидящие в одной тесной камере, нам давно уже не о чем говорить.

– Тебе звонили из театра, просили перезвонить, говорили, что срочно.

– Из какого театра?

– Из «Современной пьесы».

– Из «Школы»?

– Да, из «Школы».

– Я сегодня уже разговаривал с ними.

– И что им надо?

– То же, что и всегда – новые пьесы.

– Но ты ведь и так отдал им достаточно много.

– Им не может быть достаточно много, они все время хотят еще и еще, как и все остальные театры, надеющиеся, что нападут наконец на гениального драматурга.

– А это возможно?

– Что?

– Напасть на гениального драматурга?

– Они сами не знают, что им, в сущности, надо. Есть расхожий миф о гениальном драматурге, некоем современном Гоголе или Чехове, а может быть даже и Грибоедове, который придет и принесет им гениальную пьесу. Но это зловредный миф, который губит и театры, и драматургов, мрущих, как мухи, от невозможности ничего поставить в современных театрах. Гениальными пьесы становятся спустя лишь какое-то, иногда довольно большое время, когда их автор или умер от туберкулеза в далеком, безразличном к нему краю, или ему оторвали голову на чужбине, или он вообще устал жить и ушел из мира, отказавшись от еды и воды в присутствии опустивших руки друзей. Для создания гениальных пьес нужны гениальные условия, то есть условия, когда почти любую пьесу можно в принципе поставить в театре. А когда театры не верят в способности современных авторов, и ставят одну лишь классику, авторы мрут, как мухи, или начинают писать фантастические романы.

– Так, как это делаешь ты?

– Я давно уже не пишу фантастические романы, ты же знаешь, что я уже завязал с этим гиблым делом.

– Ты завязал не только с ним.

– Что ты имеешь в виду?

– Ты завязал и со мной.

– Опомнись, Марта, опять старая песня!

– Старая песня лучше новой пьесы. Ты просто не любишь меня.

– Ты же знаешь, что это не так.

– Нет, это так, и я устала жить в этой проклятой квартирке на четырнадцатом этаже в условиях, когда ты совсем не любишь меня. Я могу сойти с ума, и выпрыгнуть из окна!

– Это что, шантаж?

– Это не шантаж, это реальность.

– Ну что же, ты взрослая женщина, и вольна делать, что хочешь.

– Ты хочешь, чтобы я спрыгнула вниз?

– Нет, я этого не хочу!

– А чего ты хочешь?

– Я хочу, чтобы ты успокоилась.

– Я успокоюсь только в могиле.

– До твоей могилы еще далеко!

– До моей могилы всего четырнадцать этажей!

– Не говори глупости, не своди меня с ума, я устал от твоих угроз, мне надо писать новую пьесу!

– Когда ты пишешь, я схожу с ума еще больше!

– Ты хочешь, чтобы я перестал писать пьесы?

– Я хочу, чтобы ты выпрыгнул вместе со мной.

– Зачем?

– Я не могу прыгать одна.

– Я не буду прыгать вместе с тобой, можешь и не надеяться на это!

– А на что мне надеяться?

– На лучшее.

– Наше лучшее все позади.

– Наше лучшее все впереди.

– Впереди нас ждет Страшный Суд, и двенадцать кругов Дантова ада!

– При такой начитанности даже странно, что ты решаешь кроссворды!

– А что ты мне предлагаешь?

– Реши пару задач из геометрии Лобачевского.

– Ты издеваешься надо мной?

– А что мне еще остается, я ведь, маменька, драматург, и не просто драматург, а комедиограф, мне по должности положено над кем-нибудь издеваться!

– Дождешься, что я все же выпрыгну из окна!

– Очень обяжешь меня этим, сразу же начну писать трагедию о твоей ужасной кончине!

– Ну, в таком случае вот тебе и вот (интересные жесты в мою сторону), ни за что не выпрыгну, хоть ты сто лет дожидайся этого!

– Милая, как же ты разочаровала меня!

Три ведьмы (Оск.)

Подъезд грязный, весь исписан неприличными надписями, и точно такой же лифт, подростки постарались на славу. У входа в высотку три старые ведьмы, мимо них просто так не пройдешь – обольют помоями с ног до головы, и даже не поморщатся при этом. Будь моя воля, говорит одна из них, я бы после одиннадцати вечера в подъезд никого не пускала. А будь моя воля, поддерживает разговор другая, я бы всех подозрительных, и особенно при портфеле, обыскивала с милицией и с собаками, пойдя узнай без милиции, что он носит в портфеле. А будь я президентом, дает волю фантазии третья, я бы вообще всех обыскивала утром и вечером, и яйца бы у каждого подозрительного обрезала специальными щипчиками. Ишь, как ты раскатала губы, Февронья, отвечает ей первая ведьма, где же в стране наберется столько железных щипчиков, мужиков ведь вон сколько много, на всех кобелей щипчиков не напасешься! Я бы напаслась, отвечает Февронья, я бы рельсы на железных дорогах снимала и переплавляла их в щипчики. Эх, подруга, резонно возражает вторая ведьма, как же тогда народ будет ездить, если ты все рельсы в щипчики переплавишь?! А куда им будет ездить без яиц-то, отвечает Февронья, без яиц они куда ездить не будут, и к ним тоже никто ездить не будет, поскольку без яиц они никому не нужны! Ну и мудрая же ты голова, Февронья, отвечает кто-то из ведьм, прямо Дом Советов, будь моя воля, я бы тебя непременно сделала президентом! Будь моя воля, думаю я, я бы вас, проклятые ведьмы, жег на площадях во время больших и не очень больших праздников, пока не пережег всех до одной. А костры бы складывая из лавочек, на которых вы сидите. Нет, что ни говори, а без инквизиции иной раз обойтись никак невозможно!

Театральное бюро (Оск.)

– Скажите, вы сами написали эту пьесу?
– Разумеется сам! Кто же еще мог написать ее, кроме меня?
– Мало ли кто? Пьесы приходят к нам в театральное бюро разными путями. Может быть, вы украли ее у кого-то?

- У кого?
- У того, кто ее написал.
- Ее написал я.
- Такую странную пьесу?
- А что в ней странного?
- А вы не понимаете?
- Нет.

Пауза. Он худой и костлявый, борода, как у козла, когда встает, начинает хромать на левую ногу. Хромой бес, к тому же еврей. Впрочем, при чем тут еврей, это не имеет никакого значения.

– Неужели вы и правда не понимаете, о чем написали в своей пьесе? – продолжает допытываться Хромой Бес.

- Объясните мне, прошу вас.
- Скажите, вы еврей?
- По матери, да.
- Это значит, что вы действительно еврей.
- Вы тоже, и что из того?
- Как что, я не пишу подобные пьесы!
- Подобные в каком смысле?
- В том смысле, что в них высмеиваются евреи!
- Где вы это нашли?

– Да вот здесь, вот здесь (тычет пальцами в текст), и еще в двух или трех местах вы употребляете не вполне корректные выражения!

– Речь идет о древнем Израиле, моя пьеса о древнем Израиле, и евреи сами ругаются между собой, называя собеседников неподобающими словами. Тем более речь идет о подонках, об отбросах общества, и даже вообще не о людях, а о бесах, героях одной из библейских притч, которую я решил исследовать методом драматургии, и превратил ее в пьесу. Я не антисемит, не юдофоб, я сам еврей по крови и жизни, и написал пьесу о жизни своих соплеменников.

- Вас кто-то надоумил ее написать?
- Разве что мое вдохновение, да еще, возможно, вечные Музы.
- Музы? Вы всерьез верите в Муз?
- Не только верю, но и обращаюсь к ним с просьбой о помощи, особенно к Талии и Мельпомене.

- Вы что, сумасшедший?
- А вы?
- Я хозяин этого театрального бюро, и я абсолютно нормален.
- Рад за вас. Так вы возьмете себе мою пьесу?
- Не знаю, не уверен, мне надо посоветоваться с другими людьми.
- По поводу чего?
- По поводу содержания вашей драмы. Кстати, а почему она называется «Бисер»?
- «Не мечите бисера перед свиньями!» – Помните эту цитату из Иисуса Христа?
- Разумеется, помню, и что из того?

– Я просто литературно обработал одну из его притч, ту самую, где бесы, вышедшие из бесноватого, вошли в стадо свиней, и оно, бросившись с высокой кручи, утонуло в водах Генисаретского озера. А бесы, разумеется, не утонули, ибо они духи, и, выбравшись из воды, продолжали преспокойно жить среди древних евреев. Жить, сквернословить, устраивать разные пакости, и прочее, в том же духе. Вот откуда некорректные выражения! Так бесы ругают один другого, и никакого антисемитизма здесь, разумеется, нет и в помине!

– И все же мне надо посоветоваться с другими людьми и навести о вас кое-какие справки! Хромой Бес тербит козлиную бороду и смотрит на меня явно глумливо.

– В таком случае, извините, я вам эту пьесу вообще не отдам, мне не надо, чтобы обо мне наводили какие-то справки! Вы не милиция, чтобы наводить обо мне какие-то справки!

– Я уже навел о вас кое-какие справки!

– И что же это за справки?

– У вас довольно подмоченная репутация!

– А у вас?

– Что у меня?

– А какая репутация у вас?

– В каком смысле?

– Насколько она подмочена, и чем именно?

– Вы что, издеваетесь надо мной?

– Помилуйте, вы сами над собой издеваетесь! Разрешите, я заберу назад свою пьесу!

– Я не могу вам ее отдать!

– Почему?

– Подождите немного, я посоветуюсь кое с кем, и все вам подробно сообщу!

– Нет уж, советуйтесь с кем хотите, но пьесу я вам ни за что не оставлю!

Недолгая борьба, козлотородый явно проигрывает и вынужден уступить. Прощай, Хромой Бес, ты явный персонаж моей странной пьесы!

Тверская (Оск.)

Разносчик пьес по театрам – есть, очевидно, такая должность. Такая работа, такая профессия. Если вы ни с кем из разносчиков не знакомы, то спешу порекомендовать одного из них – это я. Помнится, в 1897-м году я проходил здесь, разнося свои пьесы в театры тогдашней Москвы. Ну и времечко было, скажу вам, не чета нынешнему, все благопристойно, патриархально, благонадежно и застегнуто на все пуговицы до самого горла. Никакой сексуальной революции, разумеется, никаких распущенных нравов, и пьеса, если она действительно пьеса, а не, извините меня, дешевая поделка, воспринималась, как нечто божественное, ниспосланное свыше, дарованное Богом, или, по крайней мере, вечными Музами. Я, между прочим, тоже обращаюсь к Музам всякий раз, когда пишу новую пьесу, но вынужден тщательно скрывать это от окружающих, особенно от режиссеров, театральных критиков, и заведующих литературными частями театров. Прошло ведь сто лет, и на дворе конец двадцатого века, до Великой Черты, то есть до Миленниума, осталось всего три года, и пьесы нынче не те, теперь без секса, без откровенного траха и без какой-нибудь совершенно бесподобной гадости у тебя ее и в руки никто не возьмет. Помнится, в одной из своих комедий я подробно описал преступную медицинскую шайку, занимающуюся пересаживанием фаллосов африканских бегемотов и северных оленей потасканным и издержанным современным индивидуумам якобы мужского пола. И что бы вы думали? – пьеса имела оглушительный успех, и народ на нее валил, как будто это была распродажа туалетной бумаги середины 80-х годов. Вы не присутствовали при распродаже туалетной бумаги в середине 80-х годов? Ну да, разумеется, вы ведь совсем молодые девушки, не больше шестнадцати, я думаю, и не могли присутствовать при этом выдающемся событии. И в 1897-м году, когда я начал разносить по театрам свои пьесы, вы тоже наверняка не присутствовали. А здесь на Тверской что делаете? Промышляете иностранцев? На иностранцев уже никто из серьезных гетер не клюет? Теперь и своих богатых вокруг навалом? Вот как, а мама с папой что говорят относительно вашей профессии в столь юные годы? А пошли они куда подальше, у них своих проблем навалом, и на дочерей просто начхать? Тоже верно, если своих проблем, и надо их разгрести. А пьете чего так много? А мы не пьянеем, мы молодые, не то что ты, дядя, совсем захмелел, и несешь всякую чушь! Попробовали бы вы с мое поразносить эти чертовы пьесы начиная с 1897-го года, так посмотрел бы я на вас, как вы захмелели! Годы-то уже не те, и сил совсем не осталось, не то, что у вас, небось в день пропускаете штук по пять иностранцев? Да говорят же тебе, дядя, что на иностранцев мы уже почти не клюем, у нас свой клиент богатый пошел, а насчет пяти в день – это ты, дядя, смеешься, нам, чтобы заработать прилично, надо по тридцать за сутки через себя пропускать. Мы бляди рабочие, посидели, покурили, и побежали дальше, даже не успевши подмыться! Подмываться, девушки, это для девушки первейшее дело, извините уж меня за этот неожиданный каламбур! Да что ты, дядя, нам иногда такое накаламбурят, что хоть стоя, хоть раком, лишь бы деньги платили. А драматурги люди богатые, хочешь, мы и тебе дадим, прямо тут, на Тверской, не сходя с этого места? Я бы, девушки, не против, я и сам в былые годы имел вас, шлюх, на этой самой Тверской, как только хотел, и не только раком и боком. У меня вас, болезных, было в свое время, что грязи под ногами, здесь куда ни ткни, везде мои памятные места, и везде таблички о моих подвигах вывешивать можно. Но это все, хорошие, в прошлом, теперь мне приходится трахать театральных критиков, заведующих литературными частями и помощниц режиссеров, потому что моя жизнь теперь зависит от них. Я трахаю их, а они в ответ трахают меня, и это, дорогуши мои, такой потрясающий трах, до которого вам в жизни не дорости! Сколько бы вы человек в день ни пропускали через себя, хоть по пять, хоть по тридцать, хоть по всей тысяче! Без траха, милые девушки, причем траха изошренного и извращенного, не может быть поставлена ни одна современная пьеса, какой бы гениальной и необыкновенной

она ни была. Это вам, дорогие мои, не времена патриархального Чехова, это вечные времена Нерона, Сенеки и кровавого Рима. Помнится, мне пришлось по нужде отдаться одному театральному критику, древней старухе, выдавшей живьем Шекспира и Гамлета, и ее закадычной подруге, старшей ее лет примерно на восемьдесят, которые изнасиловали мою пьесу таким мерзким образом, что от нее, голубушки, не осталось и следа былой девственности. И в таком неподобающем виде, всю растерзанную, обсосанную и занюханную, ее, несчастную, вывели на русскую сцену! Зрители, разумеется, визжали от восторга и рыдали навзрыд, а я рыдал в театральной гримерке в обнимку с какой-то отзывчивой и мягкой помощницей режиссера, и она утирала платком мои горькие и благородные слезы. Ведь когда, дорогие мои, драматург говорит, что кто-то его изнасиловал, он имеет в виду, что изнасиловали его любимую пьесу. Это, милые девушки, все равно, что изнасиловали вашу жену или дочь! Подумаешь, отвечают они, дочерей наших родителей тоже в свое время первый раз изнасиловали, и ничего, живы пока, и сами насилуем любого, кого захотим! А у нас, дядя, с тобой, как видно, много общего, ты такая же блядь, как и мы, только театральная, но все равно мы по духу родня, и нам нужно держаться друг к дружке поближе. Хочешь, мы тебе в знак родственных и дружеских отношений минет за бесплатно сделаем? Да, прямо здесь, на Тверской, в этом открытом кафе, здесь это в порядке вещей, и никто даже внимание не обратит. Большое спасибо, но что-то не хочется на этой жаре. Ну как знаешь, если передумаешь, можешь вернуться после спектакля, мы будем здесь пасть всю ночь до утра. У нас ведь конвейер, как на фабрике по изготовлению макарон и сосисок, мы, дядя, обыкновенные фабричные девушки из твоего незабвенного 1897-го года, и лишь случайно попали в Москву конца двадцатого века! Да бросьте вы, девушки, какой 1897-й, это я вам все наврал, выпил лишнего, вот и наврал, а так ведь я старше вас всего лишь на какие-нибудь двадцать лет, и даже в отцы вам не гожусь, разве что в братья, или в сутенеры, если потребуется. Нам, дядя, и своих сутенеров девать некуда, а за предложение сотрудничать большое спасибо! Вот тебе еще сто грамм коньяка, и сто рублей на такси, если сам до театра не сможешь дойти. А теперь извини, время не ждет, пора работать, клиент попер, как щука на нерест, и сигналит из всех переулков и мерседесов, заходи, если приспичит, отсосем по всем правилам, будешь доволен! Спасибо, милые, после премьеры, если останусь жив, обязательно подойду!

Отлучение (Изыск.)

Приход Обломоффа в революцию, как крупного, вполне уже сложившегося писателя, был неизбежен. Собственно говоря, революционный порыв начала перестройки был неким веянием, захватившим самые разные слои общества, и прежде всего интеллигенцию. Что уж говорить об Айзеке Обломоффе, имевшем за плечами такой нашумевший роман, как «Кровь на снегу», и таких друзей, как Иосиф Айзенштадт?! Обломофф бросился в революцию со всей искренностью, на которую только был способен, со всем жаром своей исстрадавшейся в хождениях по мукам души. Все помнят цикл его знаменитых статей в перестроенных газетах, в которых он называл перестройку началом резолюции в России, и пытался, насколько возможно, обосновать неизбежность такой революции. Все, разумеется, помнят и самую знаменитую статью Обломоффа: «Конец президента», которой были обклеены подземные переходы в обеих столицах, и на продаже которой ее распространители сделали себе небольшие состояния. Айзек потом, когда все уже кончилось, беседовал, не называя себя, с этими распространителями, совсем еще молодыми ребятами, и они в один голос говорили ему о том ажиотаже, который царил на улицах Москвы и Ленинграда после выхода этой статьи.

– Если бы, – говорил ему один из распространителей, – Обломофф въехал на белом коне на улицы Москвы, он бы был встречен, как очередной Мессия, которому отдана в руки судьба России. Народ, безусловно, пошел бы за ним, как за новым вождем, и он мог совершить новую Октябрьскую революцию, не пролив при этом ни единой капли крови. А если кровь все же пришлось бы пролить, народ с радостью отдал бы ее до последней капли за те светлые идеалы, которые Айзек нарисовал в своей знаменитой статье. Ах, Айзек, Айзек, как же ты опрометчиво поступил, как же ты не воспользовался шансом, который предоставила тебе история!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.